

КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

604532

Рассказы-бывальщины

ВОЛОГОДСКАЯ
«Областная библиотека
им. Н. В. Бабушкина»

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1967



Константин Кони́чев

Писатель Константин Иванович Кони́чев родился в 1904 году в деревне Поповской Усть-Кубинского района Вологодской области. Сейчас он живет в Ленинграде.

Читателю известны его книги о Вологодском севере: «Деревенская повесть», «В местах отдаленных», «К северу от Вологды», «Из жизни взятое», а также повести о деятелях русской культуры — «Повесть о Федоте Шубине», «Повесть о Вороникине», «Повесть о Верещагине», «Русский самородок» (повесть о Сытине).

Ничего в этом странного нет, что я Алеху Турку вспомнил во время перелета из Каира в Дамаск. Мы, группа советских туристов, летели тогда на устаревшем четырехмоторном самолете сирийской компании. Моторы гудели с неистовой силой. Разговаривать было невозможно, и туристы сидели молча. И хотя было темно, мы могли разглядеть и Суэцкий канал с проходящими по нему кораблями, и освещенный огнями Порт-Саид.

В эти минуты я подумал: «Вот был я когда-то деревенским парнишкой, батраком, подпаском, бурлаком, учился в школе «закону божьему», читал об этих библейских египетских «палестинах», и никогда мне в голову не приходило, что случится побывать где-то в тех неведомых местах, о которых слышал в детстве и которые казались сказочными...»

А когда я увидел огни Порт-Саида, вдруг как-то неожиданно возник в памяти мой односельчанин Алексей Турка. Такова была его уличная кличка, а по паспорту и по оброчной книжке он назывался Алексеем Александровичем Паничевым.

От этого неграмотного деревенского мужика, участника русско-японской войны, мне много раз приходилось слышать рассказы о том, как после «замирения» русские солдаты возвращались с Дальнего Востока на кораблях чуть ли не вокруг света. Помню, Алексей в своих рассказах упоминал города Порт-Артур, Сингапур, Порт-Саид и еще Одессу. Одессу, где они вышли на свою землю, он называл по-особенному, ласково и нежно: «Адеста».

Порт-Саид он хорошо запомнил потому, что там на корабль грузили предназначенный на убой скот, и одна животина — не то бык, не то корова — оборвалась с погрузочной площадки в море. Зацепили и вытащили ее, по словам Алексея, «индейцы», умевшие хорошо нырять в прозрачной морской глубине. Надо полагать, это были не индейцы, а арабы, но Алексей Турка большой разницы между ними не видел.

...Самолет гудел в вечерней темноте над побережьем, где виднелись огни Израиля и Ливана, а я думал об Алехе Турке, давшем в свое время толчок моей юношеской мечте о других странах.

Алексей Турка умер от тифа в 1919 году, но воспоминания о нем свежи в моей памяти.

В комитете бедноты деревни Поповской Устьянской волости Кадниковского уезда, затерявшейся в лесах, а потом и совсем ис-

чезнувшей с лица земли, я был у председателя комбеда Турки секретарем, поскольку сам комбед в грамоте не был искушен. Впоследствии я, будучи селькором, написал первый короткий рассказ «Комбед Турка» и поместил его в вологодской газете «Красный Север» и в «Журнале крестьянской молодежи». Дальше — больше. В моей книге «Деревенская повесть» комбед Турка стал прототипом одного из моих героев. И в «Повести о Верещагине» Алексею Паничеву — он же Турка — отведено немало места, связанного с последними днями знаменитого русского художника.

С закрытыми глазами я припоминал далекое прошлое. Картины детства и юности проносились в моей памяти. Сам удивляюсь, как крепко, навсегда сохранила она многое из жизни этого деревенского мужика, бывшего солдата, мастерового-сапожника и, наконец, представителя бедноты в органах Советской власти на местах.

Помню, как, прощаясь со мной, умирающий от тифа Турка выдохшими губами шептал:

— Японцы не убили, волки не загрызли, медведь не задавил... А вот от проклятой тифозной вши наступил конец. Не ждал и не думал, что этакая дрянь опаснее и вреднее медведя! Сколько человек умерло в нашей деревне? А в Беленицыне, Боровикове, Беркаеве... Но мне от этого не легче... А ты береги себя, Костюха, смазывайся жирнее дегтем. Вша дегтя боится. Ешь чеснок... Не нам, а вам, молодым, жить...

— Алексей, может, ты не умрешь, осилишь... — утешал я его, выдохшего, исхудалого.

— Нет, не осилить... Сверни-ка мне сигарку самосаду, да потолще. На том свете ни табачку, ни самогонки. Да и никакого того свету нету, одна тьма...

Я свернул ему сигарку. Он, не приподнимаясь, лежа на широкой лавке, выкурил, ни разу не кашлянул.

— Есть облегченье на душе, — заговорил Турка, чувствующий близость смерти. — Нет, не ожить. Ухожу... Попа не надо. А вот медальку достань, Костюха, с божницы да золой либо о голенище катанка почисти. Умру, брось ее в гроб...

На начищенной медали заблестели слова: «Да вознесет вас господь в свое время». Я прочел их вслух.

Турка глухо проговорил:

— Не господь, а революция, Ленин вознесет нас... Как жаль... Не дожил до самого хорошего... А оно будет. Об этом и в Маньчжурии, и в Адесте задолго до революции слыхали мы предсказания умных людей...

На минуту он замолк, посмотрел на меня жалостно.

— Не подходи ко мне близко. Как бы и тебя зараза не ужалила... Поберегись,— сказал он, через силу выдавливая слова.— Мало, мало Турка пожил,— продолжал он о себе, как о постороннем.— Мало пожито, да много видено... И в Ново-Петергофе служил, и в Рамбове, и в Слюшине, и в Выборге. (Рамбовом и Слюшином он называл Ориенбаум и Шлиссельбург...) И с япошкой воевал... Весь свет объехал. А тут живут люди и всю жизнь паровоза не видали...

И вдруг, приподняв голову, Алексей слабым, охрипшим голосом нараспев произнес:

...Не успел нам Стессель речь проговорить,
Как защитник Порт-Артура Кондратенко
Японским снарядом был убит...

Теперь я сожалею, что не запомнил и не переписал целиком любимую Туркину песню. Став взрослым, я нигде — ни в фольклорных сборниках, ни в песенниках, обильно выходивших в изданиях И. Д. Сытина, этой горестной солдатской баллады не встречал.

Последние слова песни Турка дотянул кое-как, полушепотом и, тяжело переводя дыхание, вымолвил:

— Вот как... Скажи соседям: Турка с песней умирает...

Я отвернулся и смахнул рукавом слезы.

Крепко и долго, всю жизнь, держатся в памяти события, происшедшие в далекие юные годы. Запомнились и люди, наиболее яркие, отличающиеся самобытностью. Не ханжествующие богопоклонники, не хандрящие сеятели уныния и скуки, не скопидомы и стяжатели, запомнились живые, энергичные борцы за жизнь, несколько даже дерзкие, своевольные, с причудами, как Турка. Мои детские и юношеские симпатии были на стороне этих людей. Да и теперь остались.

Как-то я пытался вскоре после смерти Алексея Паничева выяснить, почему его звали Туркой. В деревне Поповской многих кликали прозвищами: Петух, Додон, Обабок, Бухало, Сухарь, Гоголек, Свистулька... Меня эти прозвища не интересовали, как и сами их носители — обычные, ничем не примечательные соседи. Другое дело — Турка! Он был человек веселый, разбитной, озорной, неунывающий, а главное — бывалый.

Мой опекун и хозяин Михайло объяснял:

— Турка так Турка и есть. Хрен знает, почему его так окрестили? Пожалуй, вот почему: родился он в тот год, когда война с турками кончилась. Поп спросил Алехина отца, какое имя дать ребенку, а отец и бухнул: «Хоть Туркой назови, не все ли равно.

У нас в деревне мало кого поименно зовут, всех по прозвищам...» Хорошо еще поп был добросовестный, дал парню имя Алексей... Но Туркой он так и остался до самой смерти...

Турка бывал в Египте!.. Отсюда начались и продолжались воспоминания тех штрихов из жизни Турки, которые не вошли в мои повести...

В Дамаске на аэродроме встретили нас ночью очень приветливо. Устроили в центре города в гостиницу Гранд-отель. Ни яркие огни рекламы, ни шум речки Барада, бурлившей под окнами гостиницы,— ничто не привлекало меня в эти ночные часы. Турка почти до утра занял мое внимание.

Я лежал при свете лампы, вспоминал и бегло записывал о Турке то, что воскрешала память.

С чего, с какого времени стал я его помнить?

Наверно, мне было три-четыре года. Тогда еще были живы мои отец и мать (лишился я их, будучи шестилетним). Смутно помню разговоры:

— Солдат вернулся...

— Турка приехал...

А турок и японцев мне тетка Клавдя показывала на картинках. Турки были горбоносые, противные. Японцы — желтолицые и тоже противные. Хорошими были только Аника-воин и Скобелев — оба с саблями, верхом на лошадях...

Отец пригласил Турку в гости.

На столе — самовар, яичница, бутылка водки. Я смотрел на турок что на картинке, и на живого Турку. Ничего общего. Разочарование! Наш деревенский Турка человек как человек: на голове фуражка плохонькая, выцветшая, а не красная шапка, с кистью, как у настоящих турок.

Но уже с этой первой встречи наш Турка полюбился мне за то, что все свои «богатые» трофеи он подарил мне. Пеструю раковину... Приложишь к уху — шумит. Это из Порт-Саида!.. Скорлупу от кокосового ореха... А орех величиной с кошачью голову!

Скорлупой все восхищались, отец мой особенно:

— Растут вот какие оказии... Снимай, ешь... Ни пахать, ни сеять е надо!..

Еще Турка подарил мне целую обойму стреляных гильз, и, кажется, тогда счастливее меня на свете не было никого.

Когда умерли мои родители, Турка не мог меня взять к себе на воспитание. Он промышлял, ходил на заработки. Но когда возвращался — был со мною добрее и жалостливее опекуна. От Турки мне перепали семечки, леденцы, баранки, пряники-сусленники.

Хмурый и жадный опекун Михайло ворчал на Турку:

— Не приноси более. Избалуешь парня. Репу, горох можно, а сласти ни к чему. Воспрешшаю! Парнишка — сирота, мне обществом доверен...

Годы моего учения в церковноприходской школе совпали с круглыми юбилейными датами. В 1911 году отмечалось пятидесятилетие реформы. В феврале в Усть-Кубенском местные торгаши открывали памятник Александру Второму. Турка стоял впереди толпы, поблескивая медной медалью, пристегнутой к полушубку. Был молебен, была музыка, и были пьяные...

В следующем году — столетие со времени изгнания Наполеона. Попечитель привез гостинцы, и каждому школьнику по две книжки. В одной — картинки, как я узнал позднее, верещагинские: Наполеон сквозь огонь пробивается из Кремля; лошади стоят в церкви; французы сдирают ризы с икон...

А через год опять юбилей, опять подарки к трехсотлетию династии Романовых. Новенькими медалями обзавелись сельские старосты, школьные попечители, попы. На медали — лики первого из Романовых — Михаила и Николая, ставшего царем последним.

В книжках была сжатая хвалебная история царей. Меня заставляли читать вслух собиравшиеся у нас по вечерам мужики и бездомные бродяги-зимогоры. Приходил и Турка. Слушали с интересом. Я читал бойко, но не понимал, что к чему: в голове путались имена царей и цариц, и только Петр Великий выделялся и запоминался. Еще бы! Про него и стихи такие доступные, особенно где он лодку чинит рыбаку:

...Сам топор вот так и ходит,
Так и тычет долото!..

Стихи я читал восторженно. Турка радовался моей грамотности. В награду за бойкое чтение покупал мне карандаши, перья, тетради.

Жил он вдвоем с женой Анютой, по прозвищу Глуханка. Оба неграмотные. Книжек никаких. Но бережно хранил Турка старый «Всеобщий русский календарь» за 1905 год издания И. Д. Сытина.

Я не раз перечитывал этот календарь от корки до корки. Целые страницы механически заучил и знал назубок. Много полезного узнавали деревенские слушатели из этого календаря: какие страны на земном шаре, сколько людей в городах и сколько верст от города до города, какие, где и когда были события, как надо проценты высчитывать, как составлять прошения и жалобы, какие цари и когда царствовали, как лечить скот от болезней, все меры веса, емкости сыпучих тел. Одним словом, из сытинского календаря можно было

почерпнуть многое. А главное, привлекали Алексея Турку в календаре за этот год сведения о Дальнем Востоке, о войне с японцами, портреты генералов и павших в боях офицеров.

На вечерние деревенские сборища Турка иногда приносил календарь, сам показывал нужные страницы и просил читать вслух, для всех. И если чтение велось о событиях на Дальнем Востоке, Турка дополнял прочитанное своими словами, как участник и очевидец.

Однажды после такого чтения возник скандал, вылившийся в длительную размолвку между Туркой и моим хозяином, опекуном Михайлом.

А было так.

В календаре две страницы посвящены памяти вице-адмирала Макарова и художника Верещагина, погибших на броненосце «Петропавловск». Соседи и нищие зимогоры, Михайло и вся его семья, и Турка, задумчиво сидевшие за сапожным верстаком, — все со вниманием слушали чтение. Михайло даже перестал стучать молотком, бросил работу. Чтение сопровождалось показом по кругу снимков с верещагинских картин, помещенных в календаре. Тут были некоторые изображения печальных сцен русско-турецкой войны.

Дочитывал я последние строки очерка о Верещагине в благоговейной тишине. Ни звука, кроме моего дрожащего голоса. Я чувствовал, как подступает комом к горлу горькая обида за убитых. Но, преодолевая дрожь в голосе, я, что называется, на высокой ноте дочитывал последние строчки:

«...Тихо на его картинах. Тихо на поле, где лежит «забытый» раненый, тихо на Балканских горах, где уже засыпало наполовину недвижно стоящую обледенелую фигуру часового. Тихо на братской панихиде в степи, поросшей ковылем, в котором посеяны страшные семена войны — трупы и черепа. Тихо молится священник с псаломщиком-солдатом. Ковыль легко качается, дрожит воздух, полный голубого блеска, вьется дымок из кадила. И сколько тоски в этой тишине!.. Мир праху твоему, великий художник! За мир боролся ты всю жизнь. Идею мира отдал ты свои богатые дарования, и мир не забудет тебя!..»

Я кончил читать, тяжело вздохнул и, не смея показать влажные от слез глаза слушателям, положил календарь на верстак. Все молчали, слышались вздохи. Турка выдал себя сдержанным всхлипыванием, покачал поникшей головой и начал закручивать сигарку.

Михайло ни ко времени, ни к месту хотел разрядить обстановку шероховатой шуткой:

— Турку-то как пробрало! Слезой умылся. Вояка, а глаза ба-

бы, на самом мокром месте. Поди тут пойми, кого он больше пожалел: и русские наши, а для Турки и турки свои...

Никто не усмехнулся на слова Михайлы. Все сидели молча под впечатлением прочитанного. Только пастух Николка Копыто несмело меня попросил:

— Найдика то место в календаре, где сказано, что можно за пятерку леворверт из Москвы выписать...

— Не надо! — покосился Турка на Копыто и, смяв сигарку, швырнул ее под ноги. Резко ответил Михайле: — Дурак ты, Мишка, полная ты дурью набитая бессознательность... Не я плачу. Чувствие мое прослезилось. Оно знает, почто плачет... Я видел войну. Измену видел, и все мы видели и сердцем солдатским чуяли... Знаем, генералы хороши только на картинках... Ладно, молчу... А художника-то этого я знаю не по картинкам, не по писаному, не по печатному. Да я у него вроде денщика ординарного служил малое время!..

— Ври больше... — перебил Михайло.

— А не для тебя я и говорю, — продолжал Турка. — Пусть они знают, соседи и эти зимогоры, крохоборы. Да, да, я прислуживал Василью Васильичу. Отличный был человек. И поговорить со мной не брезговал. И рублишко на винишко, бывало, не пожалеет. Да что ему жалеть рублишко? Денег-то у него было навалом, невпроворот... Вот помню как сейчас: в Порт-Артуре стояли. Жили мы в вагоне. Ему и мне был предоставлен целый казенный вагон!.. Я ему и сторож, и уборщик, и служащий... Да, помню, моет он однажды свою седую голову с душистым мылом, а я прохладным кипятком поливаю ему из чайника. Вытерся, стал одеваться и говорит: «Ты, Алеша, оставайся здесь, а я на корабль пойду. Гляди за вагоном и веди трезвость в образе жизни...» И еще говорит: «Ну-ка, Алеша, подай мне подпоясать ремень, достань с полки». Полез я за ремнем. Нет ремня, а есть какой-то патронташ вроде. «Это?» — спрашиваю. «Это, — отвечает он и смеется, — не урони, говорит, Алеша, не рассыпли...» А я, — будь ты, Михайло, проклят, если хоть слово совру, — не удержал эту опояску и обронил на пол. Чую, зазвенело. Ну, думаю, пропал, лишусь хорошей службы. А Василий Васильич хоть бы что, встал со мной рядом на колени и стал собирать с полу золотые монетки да складывать в этот ремень... Вот где, думаю, ба-рин золото хранит. И куда, думаю, ему столько?! Для блезиру скажу: на эти деньги можно бы в нашей деревне два дома построить такие, как у Афоньки Пронина...

Соседи загудели:

— Вот эта да!

— Не служба была, а службица.

— Так-то бы и всякий воевал...

— Живи себе, не тужи, тарелки лижи да золото с полу подбирай...

— Да жди, когда от япощки по шее попадет,— добавил к суждениям соседей и зимогоров Михайло, стремясь уязвить Алексея.— И ты этим золотишком поживился малость? Кое-что перепало? Ведь барин-то твой потонул вместе с кораблем...

— Ремень с деньгами он опоясал на себя...

— Понятно, отчего слеза тебя прошибла... Жаль золотишка... Эко несчастье... А ведь, поди-ка, не опростоволосился?..

Тут Турка не вытерпел, привскочил с табуретки со сжатыми кулаками, затрясся, глаза зажглись яростью.

— Да как ты смеешь?! Да я тебе морду расквашу! Ты меня за вора считаешь? Ты светлую память доброго Василья Васильича затемняешь. Да я тебя за это огорчение...

Турка не договорил свою отповедь, так как Михайло поднялся с места и, готовясь к обороне, схватил увесистый деревянный стамик, которым оправляют голенища. Но стамик не понадобился. Турка не с размаху, а как-то снизу, ловко поддел кулаком под подбородок Михайле. Тот хлупнулся на табуретку так, что табуретка развалилась, и Михайло, присев на ее обломки, стал сплевывать кровь. Турка, нахлобучив шапку, сказал, уходя:

— Мне в этом доме делать нечего!..

Я с Туркиным календарем кинулся в угол под полати, от греха подальше. Тетка Клавдя совала в руки Михайле вышитый рукотерник.

— На-ко, божатко¹, утрись. Эдак он тебя, вертоголовый, хрястнул. Зубы-то целы?

— Кажись, целы.— Михайло шевельнул языком.— Только пошатываются. Ну, он, басурман, узнает еще меня...

Соседи расходились молча, не разжигая болтовней страсть к расплате. Только Копыто, невоздержанный на язык, оценил Туркин удар по достоинству:

— Ничего себе! Он тебя крепенько святым кулаком по грешной морде засветил. Гляньте, люди добрые, от башки до табуретки вдоль по Мишкиной спине щель прошла. Эх, Мишка, Мишка, мало у тебя умишка. Не сердай на Турку. Сам ты его разгорячил, дурья твоя голова... И в сам деле: Турка— порядочный. А живописец-то каков! В календаре пропечатан. Такой господин в денщики себе дурня-прощельгу не примет. И это надо понимать...

¹ Божатко — крестный, по-вологодски.

Соседи ушли, остались в избе у Михайлы домочадцы да зиморы-ночлежники.

— Эдак вечер-то испортили. Худо получилось...— ворчал Копыто. И, обратясь ко мне, предложил еще почитать о тех местах на земном шаре, где живут самые дикие люди.

Михайло, скривив рот, сплевывая кровь, съзвизл:

— Едва ли, Копыто, дикастее тебя, голопупого, есть кто на земле...

— Ну, вот видишь, ты и меня задеваешь. Не обижайся на Турку. Ты его, как острым ножом, глупым словом чирикнул по самому сердцу.

— Больно уж ты и он капризны,— ответил Михайло.— Не по чину пялите на себя овчину...

— А ты не строй из себя дурачину,— подсек его Копыто.— Думаешь, оттого что Турка беднее тебя, а я пастух, так у нас и души нет?.. Напрасно! Все люди от пастуха до царя одинаковым способом на свет произошли, от обезьяны,— философски закончил Копыто и, распахнув рубаху, показал густо заросшую волосами грудь.

Турка не заходил к Михайле. Михайло не заглядывал к Турке. При встрече хмурились, не здоровались. В поле на полосах, в сенокос на пустошных кулигах старались держаться друг от друга подале, чтоб «греха не вышло».

Пастух Копыто хотел их примирить. Турка не против, но Михайло отказался наотрез, предъявив ультиматум.

— Пока я ему не съезжу по рожке — не помирюсь. Жду только случая...

От Турки Копыто по этому поводу в ответ Михайле услышал четко сформулированную, краткую, не совсем дипломатическую «ноту»:

— Скажи ему, скряге обветшалому, что, если он меня заденет за сердце, я из него кишки выдавлю вместе с дерьмом и сожрать заставлю...

Ради прощупывания обстановки и с целью наладить добрососедские отношения заходила к Михайле в избу Анюта Глуханка — Туркина супруга. Придет, покрестится на иконы больше чем следует, отвесит поклон всем вообще, хозяину в частности и начинает разговор издалека:

— Погодка хорошая, рожь сухая. Ныне намолотили шесть мешков — мне не под силу. Олеша с гумна все перетаскал. Надо бы на мельницу. Михайло, дай лошадку, на мельницу съездить...

— Лошадку? На мельницу?.. Запряги своего Турку...

Копыто, чтобы задобрить Михайлу, весело добавлял к ходатайству Анюты:

— Турка — не бурка, далеко на нем не ускачешь. Дай, Михайло, не жалея бурку, пожалей Турку.

— Нет уж, благодарю покорно. Пусть на себе таскает, а я ничегошеньки ему не дам и к нему — ни ногой.

Михайло был жаден и злопамятен. И все-таки конец вражде наступил. Разрядка произошла на основе взаимного понимания...

И Турке и Михайле надоело сердиться друг на друга, тем более что они соседи-однодеревенцы и общих точек соприкосновения видимо-невидимо. Разрядить гнетущую обстановку пришел к Михайле Турка с бутылкой в кармане. Я тачал сапоги и помню, как сейчас, происшедшую сцену между двумя, казалось, непримиримыми сторонами. Турка, войдя, поздоровался, Михайло покосился — не ответил. Турка сел на табуретку, понутив голову, сказал:

— Михайло, хватит нам дурить. Я пришел мириться, вот!.. — и выставил из кармана бутылку на верстак.

Михайло крякнул и, не говоря ни слова, неуклюже размахнулся, ударил Турку по щеке. Удар был не особенно хлесткий, однако Турка скovyрнулся с табуретки. Разъяренный Михайло схватил табуретку и изо всей силы свырнул ее на пол. Табуретка разлетелась в щепки. Турка быстро вскочил.

— Еще заденешь?

— Нет, квиты... — прохрипел в ответ Михайло.

Кривая тетка Клавдя, охая и уговаривая: «Ой, что вы, бесы разнесчастные, делаете», крутилась около верстака, убирала сапожные ножи и куда-то их прятала.

— Квиты, — повторил Михайло и переставил Туркину бутылку с верстака на стол.

Распивая «монопольку» и закусывая солеными рыжиками, два соседа выясняли причины длительной размолвки и устанавливали между собою мир на будущее.

— Пошто ты меня хлестнул тогда? Я бы тебя первый не задел, — обратился Михайло с упреком к Турке.

— Как не задел? Ты мне душу потревожил! Ты по себе судил обо мне... Ты память хорошего человека, моего благодетеля Василья Васильича охамил... А он был из тех, которые сами обид не терпят и за обиженных заступаются. Вот и я за его светлую память заступился. И никогда ты не задевай мою душу...

Что понимал Турка под словом «душа» — он не определил при «замирении» с Михайлом, но надо полагать, что в это понятие у него входили все признанные им человеческие достоинства.

— Так и ты бы меня взял за душу, зачем же по морде?

— Эх, Михайло, разве бывает душа у таких, как ты?

— А что?

— Не душа, а кошелек с мелочью и дурость. Не обижайся: тебя Василий Васильевич не пустил бы к себе в услужающие, не доверил бы... раскусил бы с одного взгляда. Ладно. Не будем раздор учинять. Наливай по второй...

Михайло, прожевывая рыжики, спросил:

— А чего ты делал у того барина?.. Небось не переработал, мозолей не натер?

— Само собой, какие мозоли! Уборку в вагоне производил. Чайничек согревал. Яишенку с жареным луком он очень обожал. И это делал, и письма относил, и телеграммы, и за винцом бегал, если кто из господ офицеров к нему заходил. Сам он не охотник был до хмельного. Все чего-то писал да малевал... Иногда рассказывал, где бывал да что видал... Погиб, и тело не нашли...

— И золотишко утопло? — поспешил спросить Михайло.

— Ну, что с тобой разговаривать?.. Верещагин и Макаров — это были такие человеки, каких на золото не купишь и не разменяешь. Трудно с тобой разговаривать. А помириться надо. Правду сказано: худой мир лучше доброй драки...

Мир между ними продолжался не очень долго, до восемнадцатого года.

Турку выбрали председателем комитета бедноты. Силою власти, данной комбедам декретом Ленина, Турка основательно ущипнул Михайлу. И скоро оба умерли. Турка от свирепого тифа, Михайло по другой причине. Для таких скопидомов, как Михайло, появились «болезни», именуемые «реквизициями» и «конфискациями». Порочное сердце Михайлы не выдержало. Похоронили соседей в разных местах: Турку в отдалении, на том месте, где лежат «без исповедания скончавшиеся», Михайла — на почетном месте около церкви святых апостолов Петра и Павла.

Недавно я был в тех местах.

Довелось мне ехать от Вологды до Москвы с моим земляком, известным авиаконструктором Сергеем Владимировичем Ильюшиным. Он родом с западного берега Кубенского озера. Озеро наше длинное — километров на шестьдесят, ширина в среднем до десяти километров, бурное в непогоду, рыбное во всякую пору и богато утиными стаями, особенно в начале осени. Зимой оно сплошь покрывается толстым льдом. Много раз в молодые годы случалось мне с возами и порожняком переезжать это озеро на пути в Вологду и обратно...

В купе вагона с Сергеем Владимировичем нашелся у нас общий разговор о наших заозерских местах, о бывших торговых людях, о лесопромышленниках и пароходовладельцах. О том, какие были до революции в деревнях свадебные обычаи, гулянья на ярмарках и на масляной неделе. Вспомнили мы также о прочитанных в детстве книгах.

В ту давнюю дореволюционную пору мы не имели понятия о библиотеках, так как их вблизи от наших деревень не было. Книги брали «напрокат» у соседей да иногда сами покупали у разносчика Прони-книгоноши. По фамилии его никто не называл. Это был замечательный подвижный старичок, один из тех четырех тысяч сытинских офеней, распространявших книгу по всей России. Потом, как известно, сфени почти исчезли по приказанию Победоносцева и Каткова, нашедших, что светскую книгу, а особенно сочинения Льва Толстого, пускать в народ опасно. Однако, как редкое исключение, разносчики книг кое-где в глухих углах тогда еще сохранились. Таким редким исключением оказался и бойкий Проня. И вот, спустя примерно полвека, мы его вспомнили и установили, что «радиус торгового охвата» этого книгоноши по деревням вокруг Кубенского озера был не менее двухсот километров.

Проня появлялся с книгами то там, то тут. Летом он носился с коробушкой за спиной. Зимой по скрипучему снегу таскал за собой салазки с большим сундуком. Дальние расстояния от Вологды, где он брал со склада книги и дешевые картины, Проня преодолевал на попутных подводах и расплачивался за это книжками. Так же книжками в деревнях Кубено-Озерья рассчитывался он за хлеб, чай, сахар и ночлеги.

Проня был небольшой грамотей, но книги знал, любил, а главное, хорошо запоминал насущную потребность в них в деревнях

за Вологдой. Он знал, когда, в какой избе, кому требовались сказки и песенники, кому «жития святых», кому умные книжки русских классиков, а кому и книги о приключениях.

Из «картин» больше всего расходились «Как мыши кота хоронили» и «Страшный суд». Девкам и парням по нраву была картинка на тему украинской песни «Была жинка мужика, за чупрыну взявши». Заботливые хозяйки, чтобы отвадить своих мужей от водки, охотно покупали у Прони картинку против алкоголя «От чего погиб Иван».

Вспоминая добрым словом Проню-книгоношу, мы с Сергеем Владимировичем стали по памяти перечислять, какие книги в ту давнюю пору довелось нам читать. Конечно, в числе их были «Бова-королевич» и «Еруслан Лазаревич», «Ермак Тимофеевич» и «Гуак», «Кошей Бессмертный» и «Портупей прапорщик», «Алеша Попович» и «Арап Петра Великого», «Солдат Яшка» и «Тарас Бульба», «Конек-горбунок» и «Купец Иголкин», «Кот в сапогах» и «Кавказский пленник», «Христофор Колумб» и «Серафим Саровский», «Битва русских с кабардинцами» и «Похождения пошехонцев»...

Перебрали мы в своей памяти подобной литературы несколько десятков названий. Потом перешли к серьезной, научной, образовательной литературе изданий Ивана Дмитриевича Сытина. Мы почтительно говорили об этом издателе, прогрессивном деятеле, выходеце из глухого захолустья, откуда-то из-под Солигалича. И единодушно согласились, что начатки грамотности, заложенные Сытиным, благодаря его широко развернутой книжной торговле, сыграли свою роль в дальнейшем развитии людей нашего поколения.

О многом мы, земляки, тогда переговорили. Не касались только охоты на Кубенском озере: у Сергея Владимировича три ружья и... ни одной утки.

Поздней ночью мой собеседник заснул. Я думал о нем, о его прославленных самолетах, где-нибудь и в эту ночную пору преодолевающих дальние расстояния. Как высоко он взлетел — ученый-авиаконструктор с мировым именем. Как не позавидовать доброй завистью человеку-творцу, о делах которого со временем сказки расскажут и песни спойт! А ведь первые познания он получил из книжек Прони-офени.

...Вагон слегка покачивало, тлеющим синим огоньком светился из-под жестяного козырька фонарик-ночник. И вот что тогда мне представилось в воспоминаниях...

Проня-разносчик, книгоноша в нашей деревне и в окрестности, повсюду был любимым и желанным гостем. Везде его ждали грамотные и неграмотные, как ясного солнышка в ненастье. Всем на потребу находились у Прони книги, взятые с вологодского склада

на условиях кредитных-комиссионных. Проня любил ребятишек и часто после удачной распродажи книг дарил им цветные карандаши, а иногда и книжки-сказки.

Помню, мне едва ли было шесть лет, когда я, наслушавшись сказок, залезал на печь, прятался за кожух и сначала шепотом, а потом громче произносил волшебные слова: «По щучьему велению, по моему прошению развернись печь и вези меня в село за пряниками!..»

И это была не шутка. Если некоторые взрослые и в наше время верят, что пророк Иона три дня и три ночи путешествовал по морям, по волнам во чреве кита, то мне, малышу, было простительно после волшебных слов ожидать, как развернутся стены избы и я всем на удивление, подобно Емеле, полечу, лежа на печи.

Опекун-сапожник Михайло, зная мои недобрые намерения, с нарочитой серьезностью кричал из-за верстака:

— По щучьему велению, печь, не двигайся!

Ну и конечно, пропало мое колдовство.

Проня, прищурив глаза, хохотал до слез. А потом, поглаживая меня по голове, говорил:

— Чудачок маленький, да ведь это небылица, сказка-складка, выдумка для потехи. Подрастешь, уразумеешь...

Еще до поступления в церковноприходскую школу я научился бойко читать и тараторил, не признавая при чтении знаков препинания, полагая, что в этом — главное умение грамотея. Шутка ли! Я, малыш, читаю взахлеб, а неграмотные бородачи слушают меня. И за эту раннюю грамотность я благодарен Проне.

В долгие зимние вечера читал я мужикам до полного утомления и изнеможения такие книги, которых сам не понимал. И из-за чего люди насмерть дерутся, рубятся мечами, секирами, поднимают друг друга на копьях?

В какой-то книге рассказывалось, как злой татарин сел на русского богатыря и замахнулся булатным ножом, чтоб вспороть ему грудь белую, могучую. Слезы застилали мне глаза, когда я читал такие места, но и плача, я продолжал чтение. Мужикам были смешны мои слезы, только Проня успокаивал меня и поучал мужиков:

— Это хорошие слезы. Поверьте мне: умной книжкой парнишка растроган. Ничего тут смешного нет. Правильно и в нужном месте он плачет. Передохни, Костюшка. Испей холодной водички и читай дальше... Не бойся, читай. Русский витязь останется жив-живехонек. Из-за ракитова куста прилетит каленая стрела и уложит наповал врага лютого...

Потом я спрашивал Проню:



— Прокопей, а Еруслан — это русский?

— Нет.

— А Бова-королевич?

— Тоже нет.

— Ну, я этих книг не стану больше читать.

По милости доброго Прони, Илья Муромец и Ермак Тимофеевич сменили Еруслана с Бовой...

Иногда мы, ребяташки, гурьбой напрашивались книгоноше в наем:

— Дяди-и-инька Прокопей, давай мы твой сундук с книгами до любой деревни на салазках дотащим.

— Ребята, ведь тяжело...

— А мы всей оравой.

— Тащите!

Мы впрягаемся и — бегом по скрипучему снегу. Проня еле успевает за нами. А потом нам две-три книжки за это. Мы на морозе перелистываем их, разглядываем обложки.

— Какие занятные! Таких еще не читали. «Руслан и Людмила»... Головища-то какая нарисована! А под ней меч-кладенец...

— А эта еще занятней! «Евста-фий Пла-ки-да». Гляньте, у оленя крест на рогах!..

— Нет, эта священная, скучная. Она для стариков и старух...

В церковноприходской школе я учился в трех классах у разных учителей. Проня со своим дощатым сундуком, привязанным к салазкам, приворачивал в нашу школу, стоявшую в пустоши Коровино на отшибе, в промежутке частых деревень. Учителям он привозил по их заказам пачки книг и каталоги сытинских изданий. Они расплачивались крупно, не пяточками, не как наши деревенские мужики, и угощали Проню чаем с малиновым вареньем и кренделями. Нас, малышей, удивляло, как это они, строгие-престрогие наставники, уважительно относятся к доброму простаку Проне? А он, старенький, сгорбленный от постоянной ноши книг, с полуседой невзрачной бородкой, не боялся их, разговаривал запросто, записывал, что им нужно из Вологды, и обещал исполнить...

Бывало, в избе у моего опекуна Михайлы собирались нищие зимогоры на ночлег. Иногда человек шесть-восемь, и Проня тут же. Зимогорам место на полу, на соломе. Проне почетное место — спать на полатях. Штаны с кошельком он клал себе под голову, спал тревожно, как бы зимогоры над кошельком не «подшутили». Укראдут — ищи тогда ветра в поле. А деньги не свои, товар взят

в кредит. Своих-то доходов — кот наплакал... Зимогоры-ночлежники его успокаивали:

— Мы-то тебя, Проня, не обворуем, других побаивайся.

Случалось, навещал эту ночлежку урядник с десятским, проверял «виды» на право жительства и бродяжничества по Российской империи. Рылся в сундуке у Прони, внимательно каждую книжку смотрел, не найдя ничего подходящего, спрашивал:

— Запрещенных нет?

— Никак нет, господин урядник, неоткуда мне их взять.

— Дозволение на торговлю имеется?

— Так точно, вот-с разрешение от его превосходительства вице-губернатора.

— Что-то у тебя в сундуке молитвенников мало? Евангелиев нет ни одного, а все Гоголи да Пушкины, сказки, песенники и Толстой опять же... Божье слово надо распространять. Есть указание свыше!

— Божье-то слово мы и в церкви слышали,— заступились за Проню зимогоры.

— Нам любы такие книжки, что печатает Максим Горький. Он из нашего брата.

Урядник быстро уходил: с зимогорами ему не сговориться.

Сколько лет подвизался Проня в наших местах, сколько десятков тысяч книжек он распродал в деревнях,— не берусь об этом судить. Но если судить по сбереженным в деревнях «Всеобщим русским календарям» с портретом Александра Третьего, которые продавались Проней, то получается, что добрых лет тридцать он был в наших местах книгоношей.

И вдруг не стало Прони. Месяц прошел, и два, и целый год, Проня не появлялся. Чей он был родом, откуда — неизвестно: то ли из костромских, то ли из грязовецких. И узнать не от кого — куда девался Проня?.. Конечно, пошли слухи.

— Умер,— говорили одни.

— Замерз на дороге под Вологодой...

— В тюрьму угодил... Запретные песни давал списывать.

— Убили и ограбили.

Совсем не похожий на себя, Проня неожиданно приехал на пароходе в Усть-Кубенское с коробом книг. Он очень исхудал, постарел. Люди узнали о несчастье, постигшем Проню. Как-то он пробирался в Вологду, чтобы сдать выручку и набрать для продажи книг и литографий. На дороге в ночную пору его подстерегли неизвестные грабители. От сильного удара Проня откусил кончик языка и лишился сознания. Когда очнулся, увидел, что карманы выворо-

чены: грабители отняли у него все до последней копейки и даже паспорт.

Более года ушло на поправку здоровья. И снова за дело. Но это был уже не тот Проня. Язык заплетался. Он не мог выговаривать слова, не мог посоветовать, кому какую книгу купить, и только молча показывал на цену, обозначенную на обложке.

Началась в четырнадцатом году война. Время было невеселое... Книжки стали дорожать, но бойко расходились, особенно песенники и легкое чтиво с выразительными названиями: «Ни бе, ни ме, ни ку-ка-реку», «Люблю я женский пол», «Любовь мексиканки», «Двенадцать спящих дев, или Приключения прекрасного Иосифа». Потом появились книжки про войну: «Вильгельм в аду», «Донской казак Козьма Крючков» и другие в духе «гром победы раздавайся».

Сельская интеллигенция зачитывалась новым романом Брешко-Брешковского «В гостях у сатаны». Мужикам эта толстая книга была не по карману...

Понемногу Проня стал выговаривать однозначные цифры, вроде три, четыре, шесть. И хотя у него получалось: тли, сотыля, сесь,— его понимали.

Проня мог писать корявым неразборчивым почерком. И если письмо было деловым, он просил меня переписывать начисто. Благо у меня «похвальный лист» об окончании школы.

Помню одно из таких писем Прони в контору И. Д. Сытина. Проня писал богатому хозяину о том, что в Яранске книжный разносчик за долгие годы благодаря Сытину разбогател, стал купцом, и жители сделали его городским головой. «Кому какое счастье,— писал Проня,— а я вот, не то чтобы стать головой, сам чуть головы не лишился. Испортилась речь и полтора года не мог торговать книгами из-за мозгового потрясения. Был ограблен до нитки, влез в долги и сто рублей пролечил из-за своей хвори в городе Любиме...»

В ответ на это письмо то ли из Вологды, то ли из Москвы Проня получил перевод — сто рублей «наградных»...

И с тех пор я ни разу Проню не видел.

В семнадцатом году, весной, на пасхальной неделе, он пробылся в наши кубенские деревни. Была бездорожица. В Кубене быстро прибывала вода. Вот-вот начнется ледоход. А река напротив села — полтора километра шириной.

Ледоход — самое интересное зрелище. И пока еще не начнется, люди толпятся и ждут подвижки льда.

Но вот подвижка началась... Послышались крики:

— Пошла! Пошла!

Огромная, в два километра, льдина сдвинулась, уперлась в Лебязжий остров, повернулась и застряла крепко, казалось, надолго. Кто посмелей да отчаянней, кинулись по льдине переходить на другой берег.

Сотни людей, стоявших на берегу, видели, как двое с противоположного берега пытались через половодье перебраться на застрявшую большую льдину...

С шумом и неистовой силищей лед стал напирать с верховьев. Прибывала вода. Застрявшая льдина, подпертая течением, краем почти метровой толщины, двигаясь, стала громоздиться на сельский берег. Все, что было на пути, льдина нещадно срывала с места и как бы шутя и походя разрушала, принимая обломки на себя и заматывая следы стихийного бедствия.

Перепуганная толпа кинулась подальше на берег. В одном месте, около волостного правления, льдина с треском перевернула бревенчатую избу и потащила ее со всем скарбом. Хорошо, что жильцы успели перебраться повыше к соседям.

Рядом напором льда опрокинуло и понесло сарай, в котором находились рыбацкие сети и стояла за перегородкой корова...

Никто не знал, что в эти самые минуты через реку переправлялся с каким-то попутчиком и неизменным своим сундуком Проня-книгоноша...

С тех пор исчез Проня навсегда.

Как-то спустя годы, незадолго до коллективизации, я побывал у себя на родине и был в ближней от Приозерья деревне у своих земляков. Сидели в избе у крестьянина Василия Чакина за самоваром. Пахло угарным дымком. В самоваре, спущенные на рукодержку, варились яйца. Куры бродили по избе, цыплята кормились овсяной заварой из перевернутой, окованной железными полосами крышки сундука. Она мне показалась знакомой. Я тогда сказал Чакину:

— Вот с такой крышкой когда-то был сундук у Прони — книжного разносчика...

— Возможная вещь, — ответил Чакин, — я собирал плавник на дрова и нашел ее в кустах на приплеске в том году, когда началась наша власть. Ведь и Проня закатился под лед в ту весну. Славный был старик.

Память о Проне все-таки не стерлась.

Вычитал я в газете: «...на последней выставке кружевных изделий изяществом и виртуозностью рисунка, совершенным мастерством отличались кружева кустарки-художницы Е. И. Кабачковой. Несмотря на свой почти преклонный возраст, Еликонида Ивановна считается лучшей мастерицей. Произведения ее вызывали похвалу на международных выставках в Брюсселе и Париже...»

Прочитав об этом, я вспомнил свое далекое детство, Устьянскую волость. В нашей волости жили тысячи кустарок-кружевниц. С малых лет и до потери зрения в глубокой старости трудились они в свободное от полевых работ время. В долгие зимние вечера с пальцами собирались девчата в одну избу, бабы отдельно — в другую. И не скучно им было от всяких разговоров, от песен, старинных протяжных и частушек-коротушек.

— Веселье делу не помеха,— говорили они.— Язык без костей, пусть он резвится как хочет, а руки делают свое дело...

Творческая работа кружевниц-художниц требует умения и одаренности. И такая работа увлекательна, хотя и утомительна. Утомление заглушалось песнями. Так бывало встарь, да и нынче песне — почетное место в артельных мастерских. Сколько частушек приходилось мне слышать от кружевниц, сколько их сохранилось в памяти!..

Широкие лавки заняты кружевницами вплотную. Перед каждой на пальцах туго набитые мякиной белоснежные подушки. С подушек свисают на тонких ниточках коклюшки. А как ловко, потрескивая, припрыгивают коклюшки в умелых руках девичьих! И кажется, сам черт не поймет, почему получается столь причудливое сплетение нитей. Хорошо помню одну из этих мастериц. Звали ее Велинка. Была она родом не из нашей Попихи, а из соседней деревни, из бедной семьи. Да к тому же несчастье случилось,— где тонко, там и рвется,— сгорела у Велинкиных родителей изба от «божьей милости», а вернее, оттого, что у них в деревне не было громоотвода. Погорельцы пошли по миру за подаянием, а Велинка — в батрачки к Михайле, который опекал меня, сироту.

Велинка по хозяйству — на все руки: и скот обрядить, и на гумне молотить, и косить, и жать, и за дровами в лес — ни в чем любому мужику не уступала. В свободные часы хозяин ее заставлял, да и она своим долгом почитала, плести кружева на продажу. И за все многотрудные дела и искусства Михайло платил ей в год при

готовых хозяйских скудных харчах шестнадцать рублей и в придачу давал полусапожки...

Я учился тогда в церковноприходской школе. А Велинке было восемнадцать лет. Мне она казалась красивой, приветливой и доброй. Взрослым ребятам нравились ее голубые озорные глаза с искринками. А такой густой и тяжелой русой косы, как у Велинки, ни у кого из наших девчат не было. Две Михайловы дочери от зависти злились, глядя на Велинкину, свисающую до поясицы, косу.

Михайло ехидно насмеялся иногда:

— Зачем такая косища? Ну, кобыле хвост, понятно, богом предусмотрен, от всякого шмеля отмахиваться. А ты что, думаешь жениха приманить такой красотой? Иному, резкому на руку, такая коса на две драки — с корнем выхватит.

— Кто кому еще выхватит,— спокойно принимая шутку, возражала Велинка.

Обладала Велинка приятным голосом. Частушек она знала «полный мешок до самых завязок» и пела их по-разному: девичьи пещальные — на один лад, веселые, задорные — на другой, а ребячьи коротушки — еще по-иному. Как и другие девчата, она любила и сама складывать и под настроение петь частушки любовные.

У меня бедовой
Четыре кофты новыя.
Пятая с узорами.
Гуляю с белозерами.

Мне сказал король бубновый,
Будто дамочке червей:
— Не отдам тебя, Велинка,
За три тысячи рублей.

Ой, когда-то было время:
Целовал меня он в темя.
А теперича в уста.
Что ж, целуй, пожалуйста!..

...Прочитав газетную заметку, я подумал: не о Велинке ли она? И решил написать письмо на имя Еликоницы Кабачковой и спросить, не та ли она самая Велинка, которую я знал в детские годы. И добавил в конце письма, что если она даже грамоте не обучалась, то пусть попросит кого-либо ответить мне, а если доведется побывать в Ленинграде, то добро пожаловать ко мне в гости...

Ответное письмо получил я через неделю.

«Костенькин Иванович, как я рада, что вы вспомнили обо мне. Вот ведь, газета помогла найти меня. И как ты догадался? А я-то слыхала о вас и книжки твои читывала, но не смела написать занятому человеку. Ну, раз такое дело, то получай и мой полный ответ на ваше письмо...» — так сбивчиво, на «ты» и «вы» начиналось письмо Еликонида Кабачковой. Дальше она сообщила мне, что жива-здоровва, но мужа потеряла в войну, а дочку вырастила, выучила, и стала ее дочь кандидатом геологических наук и «вышла замуж в Сибирь» за инженера... А она, Еликонида, живет славно, зрение не притупилось, плетет кружева в артели да еще обучает этому делу девчат. И похвальные грамоты имеет. А о пенсии пока не беспокоится.

Впрочем, о пенсии буквально сказано в письме следующее: «Совестно мне хлопотать, коль руки не трясутся и коклюшки в пальцах не путаются, а знают свое место. Умение у меня еще не иссякло, и на здоровье обиды нет. Нынче, десятого июня, мне шестьдесят шесть минуло. Будет теплее,— зимой мне не собратся,— соберусь в Ленинград, и вот уже тогда обо всем наговоримся и друг на друга наглядимся... Да, не беспокойся, грамоте я давным-давно обучилась и две газеты и «Крестьянку» с приложением выкровок выписываю. И в райбиблиотеке на активном счету значусь. Да я и в Ленинград к вам приеду, так все музеи и достопримечательности обегаю и тебе и семье вашей много-то не помешаю. Заранее прошу — пришли путеводитель по Ленинграду...»

Я, конечно, путеводитель выслал и повторил приглашение в гости.

Ожидая Велинку в Ленинград, я стал вспоминать свое сиротское детство, строгого, с диковатой придурью опекуна Михайлу, его многочисленную работающую семью и работницу Велинку... Из семьи Михайлы остались в живых только две престарелые дочери и сколько-то внучат, да еще больше правнуков. Как-то, перебирая в памяти всякие мелочи давних дней, я вспомнил один, на всю жизнь возмущивший меня случай. Было это в девятьсот четырнадцатом году, незадолго до начала сенокоса. Мы с Велинкой, держась за деревянные рукоятки, крутили тяжелое точило, а хозяин Михайло — сивая борода вьюном — восседал над точилом, как Саваоф на божественном троне. Волосы у него седые, подвязаны узким ремешком. Кумачовая рубаха нараспашку, и древний литой медный крест на гайтане, покачиваясь, свисал над его выпученным брюхом. Синие портки у Михайлы засучены до колен. Был он хмур, неразговорчив. Сосредоточенно и сильно нажимал жироватыми ручищами на косу, отчего



нам с Велинкой приходилось нелегко крутить и без того тяжелое точильное колесо. Десяток кос-горбуш с кривыми рукоятками готовил Михайло к сенокосу: оттачивал остро, чтобы косили, как брили, под самый корешок. Последнюю новую косу точил для Велинки.

— Ну и коса будет! — восхищался Михайло. — Не коса, а змей! Сталь с просинью. Самая лучшая коса кондратовских мастеров... И пойдешь ты у меня, Велинка, с такой косой впереди всех по прокосу, а мы за тобой, как журавли косяком, и не угонимся. Ах, какая коса!.. А ну, еще покрутите, надо с обеих сторон носочек выровнять... А теперь сходи-ка, Велинка, в загороду и попробуй на свежей траве, какова коса...

Велинка взяла косу и побежала в загороду на цветистый, усеянный ромашками луг. Михайло достал из-за гашника кисет с махоркой, устроил передышку. И не успел он докурить сигарку, как, опечаленная, с заплаканными глазами, медленно и робко переступая, пришла Велинка обратно. В руках она держала два обломка косы. Хрупкой оказалась сталь, наскочила в траве на камешек, не выдержала и переломилась. Велинка шла и, на ходу приставляя обломки один к другому, голосила:

— Была бы я волшебница... Сказала бы: «Срастись коса». И дела только... Ужели спать нельзя?..

Михайло швырнул окурок в корыто и набросился с руганью на Велинку:

— Что, дьявол? Куда глядела! Коса-то наточеная — рубля дороже! — и начал разносить Велинку непотребными словами. Глаза у Михайлы вспыхнули таким зловещим блеском, что даже у меня, ни в чем не повинного, от испуга заостенел язык.

Велинка стояла около точила, склонив голову и утирая кулаком слезы.

— Была бы я волшебница... — твердила она, отвернувшись, будто не находя других слов, — заклала бы я эту беду...

— Я покажу тебе колдунью! Ишь, ведьма, чего захотела! Косу-то какую нарушила... Ну, и я тебе за это «добро» заплачу...

Несчастливая Велинка и я, свидетель этого происшествия, никак не ожидали от озверевшего Михайлы столь дикой и глупой выходки. Он изловчился, ухватил сзади Велинку за ее роскошную золотистую и ладно сплетенную косу, обвинил вокруг заскорузлого кулака и обломком косы провел почти у самого затылка вскрикнувшей и рванувшейся Велинки.

— Вот тебе коса за косу! — у Михайлы в руке оказалась Велинкина красота. Он взмахнул отрезанной косой, развеял ее и бросил под ноги. Велинка захлебнулась в слезах.

На крик прибежала кривая Клавдя — сестра Михайлы. И та завопила, не притворяясь:

— Что ты, окаянный, наделал? Мог бы за сломанную косу и вычитать, а не нарушать волосье у девки...

— Уходи, кривая! Завтра сенокос. Вот и погорячился малость. Ей же на пользу. Без волосьев-то не захочет по воскресеньям разгуливать...

После этого случая не зажила Велинка у Михайлы. Ушла от него и ходила по окрестным деревням в поденщину косить и жать, молотить и на всякие другие работы. И не до гулянок ей — пока коса не выросла.

Вспомнились мне и другие случаи из деревенской жизни. Одного не мог вспомнить: где и когда исчезла из моего поля зрения Велинка Кабачкова.

Не мудрено было нам с Велинкой расстаться и затеряться в эти бурные годы. И вот газетная заметка напомнила о ней.

...В конце лета Еликонида Ивановна приехала в Ленинград ко мне, на Дворцовую набережную, в гости.

Ничего похожего с прежней Велинкой! Даже голос и тот изменился. У меня хорошая слуховая память: многих своих старых знакомых узнаю не с лица, а по голосу. Еликонида преобразилась совершенно неузнаваемо.

Разумеется, она состарилась. И голос, когда-то нежный, певчий, стал грубее, речь отрывистая.

Сначала у нас разговор как-то не особенно вязался. Вроде бы мы прислушивались и приглядывались, искали общую нить для беседы. Нашлась эта нить в наших воспоминаниях. Я напомнил, как бы шутя, эпизод, что рассказан выше. Засмеялась Еликонида Ивановна.

— Ты и это помнишь? — и видно, растревоженная память вызвала у нее сквозь смех слезы. — Да, Костя, всякое бывало, и так говорила: «Была бы я волшебница...» А знаешь, что скажу: меня и ныне иногда нет-нет да волшебницей и обзовут. Сплету мудреное по новому, невиданному рисунку кружево, сдам в артель. Девки-бабы дивуются, да так и говорят: «Опять Кабачкова чего-то заколдовала, что нам и не снилось...» Вот и твоей супруге-женушке я подарочек выплела, извини за скромность. Можно и на ворот к платью, и на рукава, и на кофточку — куда угодно...

Еликонида подала развернутое кружево. Оно было снега белей и хрустело в руках. Посредине кружева чередовались ромбовидные

фигуры, украшенные розетками. По краям острые зубцы — треугольниками.

— Да это же воронихинская решетка! — восторгаясь, заметил я сразу.

— Конечно, она самая. Ты скоро разгадал, — ответила Еликонида. — Я ведь читала твою «Повесть о Воронихине» и тебе в угоду сплела такое кружево. Рисунок с фотографии из книги перенесла на сколок. Дело не трудное.... Два дня всего и потратила.

Я поблагодарил ее, а жена, обрадованная подарком, обняла и поцеловала гостью.

После незатейливого угощения стала Еликонида разглядывать мою библиотеку, потом, глядя в окно, восхищалась видом на Неву, на Петропавловку, на Биржу. По Неве сновали теплоходы; за буксирами тянулись плоты, баржи. На песчаном пляже у стен крепости — тысячи загорающих.

Долго и внимательно гостя смотрела на соборную колокольню, словно глазами измеряла ее высоту.

— Действует? — спросила она.

— Действует, но не как церковь, а как музей.

— Тем лучше. Надо побывать. Какой ты счастливый, Костенькин. В этом веселом месте жить да жить, работать да работать — и умирать никогда не захочется. Можно позавидовать. Исполнилась твоя детская мечта...

— Какая мечта? Я никогда и не думал, что буду жить в Ленинграде, да еще писать книги. Случилось как-то само собой. Конечно, были стремления. Но мало ли какие стремления бывают.

— А я вот помню, как мы с тобой однажды сидели у твоих родителей на могиле. Кормили хлебными крошками галок. Тебе едва ли было десять лет... Солнышко так же вот грело. Вот я и спросила тогда тебя, сироту, — а жалко мне тебя было, одинокого: «Как бы ты, Костюха, жить хотел, когда большим вырастешь?..» А ты прищурился, поглядел из-под козырька на церковь, на речку, на висевшие сети, что сохли на козлах у амбаров, на крашенный дом купца Коковкина и сказал: «А когда вырасту, мне бы вот такой дом, чтоб и церковь под окном, и река, и невод-бредень длиной в сто сажений. И стал бы я рыбу ловить и продавать...» — «А деньги куда?» — спросила я, а ты мне на это сказал: «Э-э! Знаю куда. Перво-наперво, велосипед с блеском, как у паникадила! Еще с блеском коньки и с винтовым зажимом на каблуке и подошве. Книг полный шкаф, и чтоб конфеты и орехи в карманах не выводились».

— Не помню, не помню, — смеясь, отмахнулся я.

— Небось про мою косу вспомнил.

— Это другое дело. Такое не забывается.

— Удивительное дело получается...— продолжала гостья.— Что было, скажем, полвека назад, я все хорошо помню, а вчерашнее из памяти выскакивает.

— Стареем, голубушка, стареем.

— Нет, можно сказать, постарели телом, да молоды делом. Иногда и сердце сдает, а рассудок молод...

Загостилась у меня Еликонида Ивановна. Успела за неделю рассказать про свою жизнь все по порядку. И о наших земляках и о деревенских происшествиях — все, что вспомнила, рассказала. Многое узнал я от нее в эти поздние вечера, когда она, усталая, приходила после дневного брожения по городу.

Иногда я находил время сводить Еликониду Ивановну в музей Ленинграда. И на такси прокатил ее по главным улицам. Любо ей было видеть Ленинград впервые. А что не нравилось, осуждала:

— Сплошь камень да асфальт, асфальт да камень. Все давит на землю, и как она, бедная, дышит под такой тяжестью городов?.. От войны ни следа не заметно — это хорошо, но хоть бы вражина проклятый снова не напал, а то всему миру беды большой не расхлебать будет.

Были мы с Еликонидой в казематах Петропавловской крепости, где томились борцы за революцию.

— Читала я «Одеты камнем» об этих застенках. А теперь своими глазами вижу, своими руками щупаю холодные стены.

В соборе Еликонида Ивановна больше всего заинтересовалась резным иконостасом.

— Было бы время, да позволили — с этих завитушек можно бы уйму рисунков снять, а потом бы и сколков наколоть да кружев наплести. И опять бы наши девахи пускай думали, как я «наколдовала». А ведь это все мужицкая хитрость. Мы из ниток плетем, а они — ножичком, стамесочкой из дерева. Красота-то какая!.. Мудрили славно наши старички золоторукие.

И вдруг Еликонида Ивановна увидела на одной из гробниц букеты цветов и, усмехнувшись, меня локтем слегка толкнула:

— Ужели кто из царских родственников уцелел и цветы сюда приносит? Глянь-ка сколько их!..

Но прочла надпись надгробную: «Петр Первый» — догадалась:

— Этому царю цветы полагаются. Читала я роман Алексея Толстого. Крепкий был Петр, ничего худого не скажешь. И с народом общался, и работать заставлял, и воевал, и сам никакого дела не боялся. Шведа навсегда утихомирил. И против своих сподручных,

чуть что не по евонному, дубинку в ход пускал. Всю жизнь был на ногах да на колесах. Сейчас бы он посмотрел на всякую нашу технику! И до него и после таких царей не бывало... Не знаешь, скольких лет он умер?

— Кажется, в пятьдесят четыре...

— Мало пожил, да много сделал. Роскошества и льстецов не терпел... Петр Первый пять раз и у нас в Вологде бывал...

Осматривали мы однажды с Еликонидой Казанский собор. Там ныне антирелигиозный музей. Больше всего поразило мою гостью изображение Льва Толстого в аду в «Геенне огненной»:

— Вот глупее и дикастее этого не могли придумать. Нет, отцы духовные, блудники греховные, душу такого писателя никаким огнем не спалить. Дела его вековечны! А они его в ад, в огонь, в лапы сатане... Смешно? Нет. А глупей не придумать.

Из собора мы вышли к знаменитой воронихинской решетке, полукругом охватывающей сквер. На скамейках судачили пенсионеры. В колясочках отдыхали младенцы. Здесь не обошлось без шума, поднятого Еликонидой. Мы заметили, что на верхнем бруске решетки недостает многих зубцов. Я не придавал бы этому значения: мало ли чего от тлетворного времени происходит. Но Еликонида Ивановна, остроглазая и наблюдательная, увидела на одном звене двух мальчишек, чем-то тяжелым сбивающих зубцы и сбрасывающих их во двор.

— Ребята! Что вы безобразничаете! — вскрикнула Еликонида.

— Мы?.. Мы это в утиль. Эти штуковины слабо держатся, а тяжелые. Без зубьев лазать через решетку будет удобнее.

— Слезайте сейчас же, а то милиционера позову... Вы сами не понимаете, что творите. От бомбежки решетка уцелела, а от вас страдает.

Любовалась Еликонида на решетку и увидела за ней большое здание с барельефом на фронтоне. Я сколько раз бывал здесь и никогда не примечал этого барельефа с изображением птицы, сидящей в гнезде с птенцами. Мало ли какие есть эмблемы на старых петербургских зданиях... И тут меня удивила наблюдательность и острая память вологодской кружевницы.

— Что находится в этом доме? — спросила она меня.

— В этот дом главный вход с Мойки. Здесь находится Педагогический институт имени Герцена...

— А не ошибаешься?

— Ни в коем случае.

— А зачем этот знак воспитательного дома?

— Такого я в Ленинграде не слышал.

— Так послушай меня, деревенщину. Эта птица с детенышами точь-в-точь раньше печаталась в игральных картах на бубновом тузе. А вокруг была надпись: «В пользу воспитательного дома имени императрицы Марии Федоровны...» Значит, здесь был воспитательный сиротский дом...

Погостив у меня недельку, побывала Еликонида Ивановна во всех основных музеях города. В Этнографический ходила дважды. Там большая экспозиция кружевных изделий. Многое из этой выставки для пользы дела Еликонида Ивановна примегила и карандашом в тетрадь зарисовала.

— В нашем деле глаз да глаз нужен, хорошая память и рачительность, — пояснила она, показывая мне рисунки.

На вокзал она собралась за два часа до отхода поезда.

— Голубушка, зачем так рано?

— А уж так спокойнее. Лучше на два часика пораньше, чем на одну минуту опоздать,— рассудила она здраво, по-вологодски.— Накупила вот крендельков, сушек полпудика. Страсть люблю чай с кренделями...

— До свидания, милая Велинка! Всех благ тебе, дорогая землячка Еликонида Ивановна!..

Не очень счастливо и совсем не богато я жил в свою молодую пору. Батрачил у скряги хозяина за хлеб-соль. Не имел ничего. Ровным счетом ничего и никого. Ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Была изба и та сгорела. Надел узкополосой, неплодородной земли, по приговору общества, перешел в собственность моему хозяину-опекуну за то, что он меня, сироту, воспитывал.

Мало этого, сельский староста настоял и приговором утвердил, чтобы я, подросший сирота, еще шесть лет работал бесплатно на хозяина — до тех пор, когда мне наступит восемнадцать.

Хозяин, если не было у него дела, отдавал меня внаймы другим, а деньги за мой труд загребал себе. Нищие зимогоры соблазняли меня уйти от хозяина.

— Плевать на приговоры-протоколы. Ты теперь вырос, скачи блохой, летай коршуном...

Но какой коршун, если я гол будто кол. Не прельщало меня житие зимогорское. Не поддавался я на их уговоры. Но любил иногда с ними в картишки схватиться. Любил и послушать их острословие из поговорок и прибауток. Вообще-то я мало чем от них отличался. Подходил к ним, как туз к масти. В будни и праздники одевался в отрепки, в чужие обноски. Стыдно сказать, штанов настоящих не было.

И вот мне шестнадцать. В домотканых портках на гулянку не укачешь. Кое-как, с грехом пополам, обзавелся я первыми «чертокожными» штанами, с одной пуговицей и с одним карманом. Штаны не из новых, поношены маслом Егором, промаслены до блеска. И все-таки это были штаны — иначе не назовешь. Два дня щеголял, на третий узнал, что Федька-пастух собирается у меня брюки украть. Вор он был претотменный, даже по чужим горницам лазал.

Для сохранности перед сном я их основательно прятал. Однажды проснулся и не мог вспомнить: куда же засунул?..

Федьку спрашивал:

— Смилуйся, верни мне штаны,— а он только зубы скалит, хочет.

Погоревал я неделю и вспомнил, что штаны зарыты в кадушке с мякиной. Бегу, вытаскиваю и, бог ты мой, ни мне, ни Федьке. Мыши изгрызли. Остался один гашник с пуговицей. И такая обида подступила на мышей, на Федьку и на себя в том числе... Но вышел я из этого незавидного положения. Взял я коры ольховой да ше-

лухи луковой, залил крутым кипятком в корчаге, и такой коричневый настой краски получился, что хоть пиши. Погрузил в эту краску домотканые штаны, мутовкой помешал, крышкой прихлопнул корчагу и жду, что из этого получится. Всю ночь портки томились в краске. Утром вытащил их и чуть не закричал от радости:

— Да ведь это краше тех, «чертокожных» штанов! — Не много мне тогда требовалось, чтобы почувствовать себя маленько счастливым. Как здорово вышло! И почему я раньше не смекнул?..

С этого дня мне стало не стыдно бывать на больших деревенских гулянках. А гулянья у нас веселые по воскресным дням. С утра в козанки-бабки дуемся, надоест, начнем в городки. Шумно, весело, хохотливо.

По вечерам на севере светлынь да теплынь. Ребята и девки собираются в Коровине. Там маслоделка, школа, кооператив; там главное место-сборище, больше нигде такого по всей волости. Иногда столько нахлынет,— по тракту на версту сплошь парни и девки: взад-вперед ходят-бродят парочками, и в обнимку, и под ручку, и просто оравой; подвыпившие и трезвые, песни орут; тальянки-черепанки без умолку пиликают, и затихают, когда баянист маслодел Егорка выйдет и заиграет на своем перламутровом баяне. Ну, тогда ему сам черт не брат. Разве только гармонных дел мастера братаны Сметанины и могут его переиграть. Те больше упражнялись в селе Усть-Кубенском, в народном доме на купеческих вечеринках, а в Коровине появлялись раз в год на праздник Фрола и Лавра. Под гармонную игру сколько частушек-коротушек бывает за праздник пропето!.. Ни в какой пестерь не влезет. Парни те, конечно, непристойное горланят, об этом лучше помолчим. А вот девахи наши поют такое веселое — насмеешься, или жалостливое — хоть слезу пускай.

Начал и я погуливать, стал себя смелым и ловким на слово показывать. Частушек уйму знал. Да что знал! Сам мог насочинять каких угодно.

Соберемся, ходим кучей и напеваем. Если гармошки нет, не печалимся. Берем гребенку, да губами сквозь курительную бумагу любую музыку разыгрываем.

Но разве только в этом суть гулянки? Как бы не так. Стал я вникать и вижу: все мои сверстники-погодки меж собой девок поделили. У каждого своя дряля умоленная, другой уж к ней не прикасайся. Парни влюбленные все дерзки и на руку не воздержаны. А некоторые для острастки на гулянку с убойными предметами похаживали: у кого трость железная, у иного гиря на ремешке, а то и нож за пазухой. После той германской войны даже наганы появились. И мне

предлагали за пуд ржи старинный пятизарядный «Смит», величиной с телячью ногу, пули к нему — с большой палец. Так что в наших вологодских волостях, прежде чем нажать врага, надо было о себе подумать.

Сперва я робел к девчатам подходить. Ребята с ними в обнимку бродят у всех людей на виду. Под кустиками целуются, до рассвета девок провожают, а я завидую и про себя, молчком, рассуждаю: «Кому я нужен? Голь перекатная, штаны из крашенины, а девки, они дружат с другими, самостоятельными, на которых можно положиться, как на женихов. Разве я жених при такой бедности?» Правда, я уже умел сапоги шить. Ремесло кое-что значило. И вот присмотрелся я к одной девушке, никем не занятой. Перемигнулись раз-другой, улыбками обменялись. Приглянулась. Красоты не особенной, однако мне показалась любя, мила и приятственна. Лицо правильное, на носу веснушечки, глаза со смешинкой, а бровей будто и нет, под цвет загоревшего лица. И одежда по ней: кашемировое платье в две полоски — голубая и белая, талия перехвачена клеенчатым лаковым ремешком. Обутка тоже — ничего, башмаки с пуговками и недавно смазаны дегтем. Все как полагается. Познакомились, а разговора еще не заводили. Плясать я, конечно, не угораздился, не по мне эта забава. Однажды хлебнул для храбрости чашку самогону, подошел на мосту к этой девушке и говорю:

— Не желаете ли с нами на перепляску?

— Отчего не так? — ответила она.

Я маслоделу Егору кивнул — играй, дескать, как следует, с вывертом. И пошли. Она подол платья чуть подобрала и с прискоком — каблук о каблук — напеваает:

Пошла плясать
Молодешенька,
Кто б меня поцеловал —
Я радешенька!..

Что ни частушка, то под игру и под ножку:

Пошла плясать,
Только пол трещит,
Мое дело молодое —
Меня бог простит.

Я стараюсь ногами выделывать всякие крендели, до пота тружусь, но без частушек. Много их знаю, да все не те. Как бы не осрамиться. Поплясали, выдохлись.

Она напоследок еще спела:

...Совершенные лета
И никем не занята!..

Я понял намек. Подошел к моей плясунье, как по правилам положено, пожал ей руку, крепкую, шероховатую, и вежливоенько говорю:

— Благодарю вас за труды. Хорошо пляшете, а еще лучше поете. Извините, меня звать Костей, не знаю вашего имени, и как вас по батюшке?

— Валя, Валентина,— застенчиво ответила она и добавила: — А по изотчеству Алексеевна...

Конечно, я знал ее имя и знал, что она из Зародова, Алехи Кирикова дочь, все заранее знал, и что брат у нее есть Витька, а тут, видно, наскоро надумал с таким подходом издалека начать разговор. Стоим друг против друга. Ее руку я не выпускаю из своей руки. Она не вырывает и не пожимает, смотрит исподлобья не на меня, а на мои стоптанные сапоги и на штаны из крашенины.

«Эх,— думал я в ту минуту,— мне бы настоящие штаны, ну, хотя бы те, что сволочи мыши изгрызли». Так горестно думаю, а разговор продолжаю и чувую — не своим голосом и не моими словами:

— У меня есть к вам, Валентина Алексеевна, тайная просьба ото всего сердца души. Предоставьте мне вашу любезность проводить вас до дому. Ежели вы так считаетесь — совершенно свободной от провожатых...

— В такую-то даль? Ведь я из Зародова...

— Ну и что? Подумаешь. Пять верст — пустяки,— смелее продолжал я, не подбирая чужих слов, а говоря своими.

Рядом с ней стояла другая девушка, двоюродная ее сестренка, низкорослая толстушка, с глубокими ямками на щеках. Она и шепнула Вале, да так, чтобы я слышал:

— Валька, не теряйся...

А Валя тяжеленько вздохнула, высвободила свою руку из моей и в ответ на мое предложение пропела:

Ох, я не знаю, что сказать,
Как судьбу свою связать,
Чтобы путать — не распутать,
Чтобы рвать — не разорвать...

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,

Перекинь, милой, тесиночку —
Сама перебегу!..

Что ж, я готов перекинуть тесиночку. И откуда слова взялись, — голос подрагивает, а они так сами и выходят, не грубые, почти-тельные:

— Валечка, давно я вас примечаю, да как-то смелостью не завладел. И стеснялся, думал, не заняты ли вы...

В белую северную полночь я первый раз в жизни шел провожать девушку. Шли кустарниками, перелесками. Коростели скрипуче крякали, нарушая ночную тишь.

Три девушки Кириковы были двоюродными сестрами. Всех моложе и милей казалась мне моя Валентина. Шли мы звеном, подхватив друг друга под руки. Скоро где-то на перелазе через изгородь Вера и Фаина от Вали отцепились, пошли быстрее, а мы нарочно приотстали. Идем — рука в руке, а разговор плохо клеится. Ни с того ни с сего я спросил у Вали, сколько ей лет.

Она охотно и бойко отчеканила:

— Далеко до свадьбы, в покров семнадцать...

— А мне семнадцать со сретения. — Почему-то, наверно для солидности, я прибавил себе целый год.

— Это худо, — заметила простодушно Валя, — мужчина должен быть старше женщины на шесть-семь лет, вот тогда пара.

— Ну что ж, — говорю, — бывает и наоборот. Вон у нас в Попихе Мишка Петух женился на Агнише, та его старше на двенадцать годов! И живут. Только детей не рожают. А когда оба одинаковых лет, это, извините, совсем должно быть ладно. У нас в деревне Мастредия Пронина самоходкой выскочила замуж, ей и жениху по восемнадцать.

— Зачем же крадучись, самоходкой? Я никогда так не пойду. Я люблю, чтоб со свадьбой, с причетами, с гостями. А самоходками выбегают, чтобы на свадьбы не тратиться. Кто от нужды, кто от скуности.

— Пожалуй, и так бывает.

— Конечно, бывает... — И долгонько помолчав, Валя подозрительно посмотрела на мои просмоленные и изрезанные дратвой кулаки, спросила без всяких «вы»: — Значит, ты — чеботарь-сапожник? Можешь мне туфли сшить?..

— К удовольствию, только из вашего материала.

— Есть у нас старые голенища. Из них можно?

— Вполне. И даже из одного голенища туфли получатся.

— Ну, это потом. Когда-нибудь. У нас в Зародове сорок домов,

а ни одного сапожника. Все из рогов делают гребенки, свистки, папиросницы, подсвечники. Девки и бабы у нас кружевницы. Зимой у всех есть промысел. Летом, если дождь и на поле выйти нельзя, тоже без дела не сидим...

Прошли мы так с полверсты, переглядываясь да улыбаясь, довольные, счастливые. Плечо к плечу, щека к щеке. От ее кудряшек пахнет замляничным мылом.

— Теперь мыло трудно достать,— говорю ей,— какое душистое, а? Где берете?

— На кружево вымениваем у закупщицы. Для праздников, для гулянок бережно измыливаю. А вот чтобы с кулаков отмыть вар и деготь, можно без мыла обойтись. Натирай жидкой глиной разок, другой, третий, да с теплой водичкой, да со щелоком. Все отмоется...

— Нет смысла,— говорю, поглядев на свои руки.— Сегодня отмою, а завтра опять за верстаком. Наша работка — не кружево плести. Хошь не хошь, сапожника всегда по кулакам узнаешь.

— Значит, ты можешь новые сапоги сшить от начала и до конца? — возобновила Валя разговор о моей немудрящей профессии.— Это хорошо. Всегда кусок хлеба заработаешь. Вот бы тебе струмент да свой кожаный товар, ты бы миллионщиком стал. Обутка страсть дорогая...

— Новой обутки теперь шить не из чего,— солидно разъясняю я Вале.— Теперь во всех деревнях сапожники, и я в том числе, работают на Красную Армию: чиним сапоги, ботинки, валенки, и все — на фронт. Бойцы обносились, надо обувать. Босой человек не вояка. Я даже по этому нашему делу стишок сочинил. Называется: «Сапожник за работой». — Выступить перед Валею со своим творением я все же не решился, только сообщил: — В нашу Попиху для бедноты из Петрограда пять газет бесплатно приходит. Читаю стихи Демьяна, Деда Софрона, Красного звонаря, наизусть запоминаю. Взял вот да и сам попробовал...

— Значит, у тебя голова с мозгом,— одобрила Валя.— А война все идет и идет. Из нашей деревни двоих убили: одного в Ярославле. Бунт усмирять. Другого на Севере. Шенкурск брал. И с чего это свои, наши с нашими воюют?..

— Газеты, голубушка, надо читать, газеты. Все ясно: война свободы с капиталом!.. Старому нет возврата. Кто был ничем — тот станет всем...

...За Беркаевом, не доходя до Зародова,— осиновая роща. Впереди девушки Вера и Фаинка крикнули:

— Не отставайте!

Эхо разнесло их голос по низине. Мы ответили. Эхо повторило

наше: «До-о-гоним!» Где-то вдалеке на наши голоса откликнулся, заухал филин. Пожалуй, голоса этой птицы испугаться можно.

Валя боком прижалась ко мне, сказала:

— Здесь в роще леший пугает. А вот та крайняя осина без листьев, обгорелая. Молния полоснула...

— Молния, это да, а лешего старухи выдумали.

— Поди-ка не так,— возразила Валя,— бог есть, должны быть и черти, и лешие. Наверно, под осиной. леший от грозы прятался, а бог его и шарахнул...

Я только сейчас заметил у Вали на шее тонкую тусклую цепочку, которую без креста не носят.

— Ладно, оставим этот разговор,— сказала она.— Тятя у меня шибко верующий. Не любит безбожников. У нас братаны Тихоновы иконы у себя порубали и сожгли. Их бог и наказал. Одного убитым нашли, другой тоже как в воду канул, ни следа, ни вести.

Я газеты и книги читаю, в церковь не хожу, креста на шее не ношу. Поэтому прямо ей сказал:

— Погоди, голубушка, придет время, оно уже подходит, люди постыдятся в церковь ходить. Бога-то не было и нет. Его тоже, как и лешего, выдумали. Все это чепуха.

Валя не пристала к такому разговору, но я про нее подумал: «Не сразу, а образумить и такую можно. Лишь бы любовь была».

Подошли к деревне. Остановились у ветряной мельницы-столбьянки.

— В этой мельнице и наш пай есть,— похвасталась Валя,— только давно не мелет. Все возят молоть на паровую. Скоро эту на дрова сломают. А красиво, когда в деревне мельницы есть и крыльями размахивают. Я люблю бывать на мельнице, особенно когда горох мелют. Возьмешь гороховой муки щепотку, а нажущешь полный рот. Мучка сразу из-под жернова горяченькая, вкусная. А теперь скажи, Костя, ты Митьку Грובהва из Одарьино знаешь?

— Как же, мой закадычный. Славный парень.

— Вот, вот. Меня наша Фаинка просила, чтобы ты ее в следующий раз познакомил с Митькой. Он Фаинке нравится. Затем, до свиданьица,— сказала Валя и протянула руку.— Дальше мельницы не провожай. Отец и мать увидят. Говорят, мне с ребятами гулять рано. Какое рано? Я все могу: жать, косить, молотить, скотину обрывать, за дровами в лес езжу, кружева плету. Конечно, поспать да погулять тоже люблю. Трудно будет завтра маме меня добудиться...

Повернулась, побежала догонять Веру и Фаину.

Вечерняя заря не потухала, прошла по северу и на северо-

востоке развернулась широким красным заревом. Солнце еще не взошло. Но когда я шел обратно, птицы в кустарнике очнулись, перекликались сотнями разных голосов. Замолкли только филин и коростели. То ли их время кончилось, то ли они прислушивались к тонким и звонким песням увертливых пичужек.

На сеновале я пробовал уснуть. Не спалось. Ругал себя, зачем я не спросил ее, нравлюсь ли? Зачем соврал, прибавил себе лишний год?..

Не успел сомкнуть глаз, как ворота в сеновале распахнулись и хозяин привычно рявкнул:

— Костюха, вставай! Хватит дрыхнуть. Бери косу и ступай на дальнюю пустошь...

Неделя показалась мне очень длинной. Хотелось скорей дождаться воскресенья и снова встретиться с Валей. А посчастливилось встретиться даже раньше, в субботу.

За деревней Зародово находилась дальняя пустошь Бабино. Там с понедельника до субботы я косил траву, сгребал в копны, а потом на телеге возволил в Попиху. И каждый раз приходилось проезжать через Зародово.

Хороша эта деревня. На два посада. Посредине большой пруд, над прудом крашенная в четыре краски высокая нарядная часовня — признак зажиточности.

Матерые двухэтажные избы кулаков Хауниных и Выборновых; на задворках — яблоневые сады, черемуха, малинник. Улица всегда чиста, подметенная. Даже после дождя грязи не бывает. Место — гористое, со скатами на две стороны.

Пять ветряных мельниц за деревней — украшение немаловажное. Не в каждой деревне такой красивый придаток. Меня больше всего привлекал покосившийся старенький пятистенок Алексея Кирикова. В этом домишке живет моя любовь. Невысок терем, а у меня и такого нет. Думки в голову лезли: «Не будь у Вали брата, я бы к ней пришел в приемеши и работал бы как черт, а там, глядишь, и получше бы избенку сварганили...»

В субботу, с последним возом сена я возвращался в Попиху. На задворках Зародова чадил бани. Пахло дымком и пареными вениками. Кто-то трезвонил в маленький, начищенный до блеска колокол, подвешенный на столбе у часовни.

Я лежал на возу, опустив вожжи. Из рыхлого сена виднелась только моя голова.

Приподнялся, внимательно поглядел на окна, не покажется ли, не мелькнет ли она? Нет. Окна нараспашку, а в избе пусто. Не видно живой души. На подоконнике дремлет жирный рыжий кот. И только.

Господи, какое невезение! Всю неделю по два раза туда-сюда проезжаю, и хоть бы раз показалась! Нет...

Еще не успел выехать из деревни, слышу девичьи голоса, поют унылую, протяжную:

Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Пред иконою святой
Я слезой зальюся...

Навстречу мне девичья ватага. Все зародовские, подростки и средние славнухи, переростки и девки-вековухи, обойденные женихами. Идут ровными рядами, грабли на плечах. У каждой венки из ромашек на грудь свешиваются, а на голове веночек васильковый, хоть картину пиши. Свою я заметил сразу. Она меня тоже, и не прячется от моих глаз, а нарочно пробивается вперед и смехом сияет.

Девки, увидев меня, зашумели:

— Валька, глянь-ко, твой суженый.

— Полезай к нему на телегу, намни ему бока!

— Ах, не хочешь, стесняешься? Так мы его сволокем за ноги. А ну, стаскивайте!..

Я не успел на возу с боку на бок повернуться, как сильные девичьи руки схватили за ноги, рубаха на мне задралась, я чуть не шлепнулся голым брюхом на укатанную дорогу.

— Здравствуйте,— говорю,— зачем так неаккуратно меня берете? Долго ли головой о дорогу трахнуть? Пошабашили, в баню торопитесь?..

— А ты с нами не хочешь? — и хохочут, как ошалелые.

— Перестаньте, он стеснительный,— заступилась за меня Валя.— Ступайте, девки, не мешайте, мы посекретничаем.

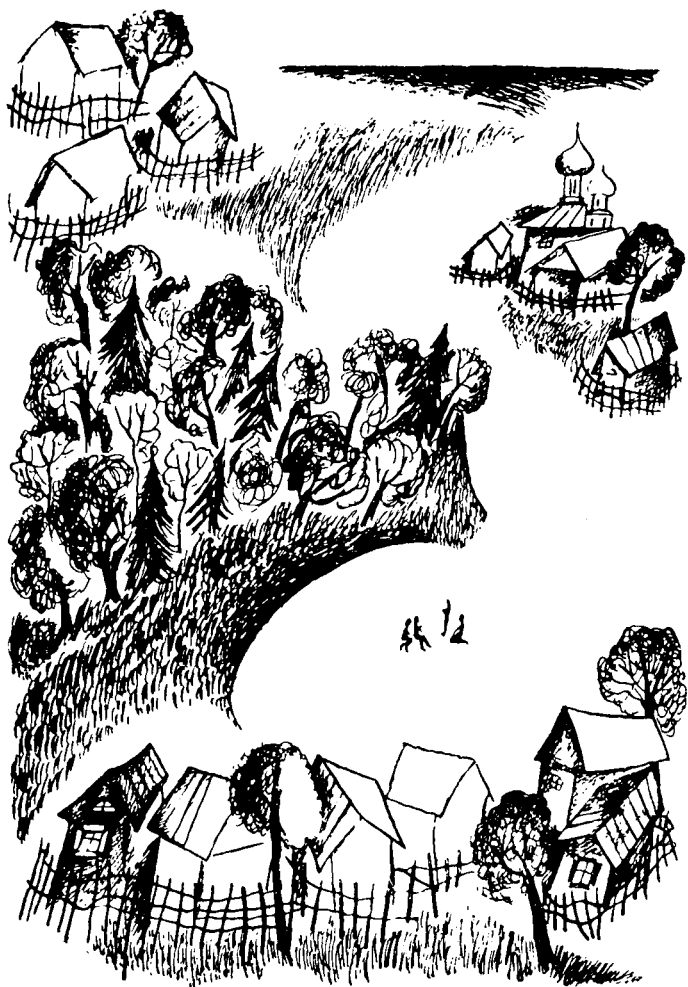
— Секретничайте, а мы пошли.

— Валька, а парень-то, кажись, ничего-о-о!

— Подвижной, вишь, как он с телеги слетел, ангелочек...

Мне вроде бы и стыдно, вроде бы и весело оттого, что передо мной она, о которой всю неделю я думал. А Валентина все девичьи выкрики отсекала, пропев скороговоркой частушку:

В поле травка зеленеет,
Красно солнышко горит...
Тому двадцать два спасибо,
Кто Костюшкой укорит...



— Bravo! Bravo! — выкрикнула Фаинка.

А какая-то из девах, уходя, негромко заметила:

— Ловка. Раньше пела она «кто Петрушкой укорит», а теперь Петра променяла на осетра!..

Внутри меня передернуло. Но я сделал вид, что не слышал этих слов, говорю оставшимся со мной Вале и Фаинке:

— Рад вас видеть и побеседовать, да надо мерина догонять, как бы он в канаву телегу с сеном не запрокинул.— И только это проговорил, смотрю, телега уже на боку, одна оглобля закинулась лошади на хребет. Бедный коняга стоит вполуборот поперек дороги и с укоризной глядит в мою сторону.

Валя сказала:

— Давай, Костя, мы тебе подсобим укласть.

— Что ж, помогайте. Из-за вас и случилось...

В несколько минут дело исправили. Сено уложили, затянули веревкой. Я как-то ухитрился и неуклюже поцеловал Валю в щеку. Фаинка заметила, съехидничала:

— Получше не умеешь? Валька, научи его... Я отвернусь...

Не знаю, где еще есть такие девчата-бойкухи, как в Зародове.

— Спасибо за помощь,— сказал я, пожимая руки девушкам.

— Спасибом не отделаешься,— ответила Фаинка.— Приходите завтра, в воскресенье, к нам с Митькой Гробовым. Хорошо?

— Хорошо, позову. А где встретимся?

— Можно на Коровино и не ходить, не блазнить у людей на глазах. Встретимся у наших мельниц, а потом уйдем к высоким осинам под Ваганово.

— Ладно придумано,— соглашаюсь я,— а в какое время?

— В какое? — задумалась Фаинка.— Ведь у вас часов нет. Приходите, когда солнышко будет на закате, спустится до креста нашей часовни...

Меня так и подмывало, хотелось узнать, кто такой Петруха... Но боялся — как бы не обиделась и не улетела от меня Валя.

Девушки направились к деревне, я смиренно пошел за возом, покрикивая на неповинного мерина.

Вдруг слышу: кто-то, запыхавшись, догоняет меня. Обернулся — Фаинка.

— Что случилось?

— Я забыла сказать: приходите не с голыми руками. Прихватывайте с собой какие-нибудь «уразины». Не худо бы пистолет либо наган, с орудием всегда веселее, поваднее.

— Так, так. Может быть, пулемет прихватить? — спрашиваю я почти с издевкой.

— Если есть, то прихватывайте. Телицынские ребята все с припасами ходят. Тронут не тронут, а остерегаться их надо. Прихватите пулеметец,— со всей серьезностью говорит Фаинка.

Я, конечно, посмеялся и спросил:

— А скажи мне, Фаичка, про какого-такого Петруху давеча девки сболтнули?

— Пустяки, больно уж ты и остер, ушки на макушке. Не изволь тревожиться. Петька Дворков, из Телицына, приударил было за Валькой, да она его отшила. Он тебе не бревно поперек дороги. Очень-то Петруха нужен Вальке, как бородавка на носу. Говорю, не тревожься... Приходите. У высоких осин, там малины в кустах, земляники на канавах — вгустую. Прокормимся...— засмеялась и побегала, сверкая на солнце загоревшими голеньями.

...Митька Гробов старше меня на два года, выше почти на голову. Чернобровый красавец. Мускулы — не ущипнешь. Волосы как вороненые, пробор сбоку словно белой ниточкой разделил прическу. Взгляд суровый, неласковый, а девкам нравится. Парень он дельный — ремесленник-роговщик. Добывает хорошо, одевается того лучше: френч, галифе, сапоги высокие с пряжками на икрах. Не подумайте плохое: Митька скромный, не драчун, сам первый никогда не начнет, но и себя в обиду не даст. И между прочим, в гостеприимстве тороватый. В ильин день был я у него в Одарьине в гостях. Так на столе и самогонка чищенная, без вонючего пригара, и рыжички, и свежая рыба — только что из Кихти выловлена и поджарена. Мать у него обходительная, меня расспрашивала: помню ли я родителей, был ли у них на похоронах, плакал ли?..

Я сказал:

— Помню, мал был, не плакалось. Чтобы я не плакал об отце, сосед Алеха Турка мне полные карманы пряников дал. А для того чтобы я все-таки плакал, кривая тетка Клавдя меня самого в могилу толкнула. Ну, тогда я так заревел, что Турка чуть лопатой Клавдю не убил...

Митькина мать слушала и, сквозь слезы смеясь, сказала:

— Да что ж она, дура кривая, ведь со страху тебя могло ума лишить. Шутка ли, в могилу?! А сколько тебе тогда было?

— Шестой год.

— Не крупно. И такого ребенка толкнула? Ну и кривая...

Встречался я с Митькой частенько. Дружили по-хорошему. Газеты вместе почитывали, книгами обменивались. У меня был карманный словарь. Читали вслух и запоминали отдельные непонятные слова: буквально, абсолютно, рационально, конкретно и так далее. Больше всего любили стихи. Как-то мужикам мы с Митькой пооче-

редно, за один присест, прочитали вслух книгу стихов революционера Басова-Верхоянцева. Мужики упрашивали:

— Ну-ка, повторите, как там штык с караваем спорят?
Мы послушно отчеканивали слова поэта:

Штык и хлеб считаться стали,
Штык хвалился: «Знай, сосед:
Сотворенному из стали,
Мне подвластен целый свет».

Каравай ответил: «Друг,
Знай и ты: кто сталью движет,—
Прежде хлебушка полижет
Из мужицких потных рук»...

Мужики одобрительно шумели:

— Что верно, то верно. Хлебец — он всему голова. Попробуй-ка без хлеба-то, а? Голодного и воробышек одолеет.

Мне и Митьке всегда было радостно появляться среди мужиков с новой книжкой.

У меня образование — три класса церковноприходской школы; Митька в четыре года закончил земскую школу. На целый год меня образованнее. Не зря Фаинка захотела с ним познакомиться. У Фаинки губа не дура. Митька — что надо! Да и Фаинка ничего — деваха-бойкуха. Дай бог ей восемнадцать. А петь да плясать — лучше не сыскать. Вообще зародовские девки в чести у ребят и на строгом учете.

В воскресенье я говорю Гробову:

— Митя, хочешь знакомиться и, стало быть, гулять с Фаинкой? Ты с ней, я — с Валькой... Вдвоем веселей ходить провожатыми.

Митька со мной согласился, но, подумав, говорит:

— А ты имей в виду: к Вальке уже подкатывался Петруха Дворков. Не знаю там, как у них дела. Петруха тюрьму изведаль. Хулиганистый. Застегнись на все пуговицы и гляди в оба. В общем-то пойдём. Чего бояться...

Я поведал Гробову, о чем мне Фаинка говорила в смысле осторожности.

— Ну вот еще! Этого не хватало, чтобы и мы с тобой с ножами ходили... На полях у нас везде камней сколько хошь. Два камня в бросок, а третий в висок, и — нет ваших!.. Да попадись мне в руки кол заостренный, ни ножа, ни топора не испугаюсь. Или с маху, или на тычок, самого черта оглушу и приткну...

Мне понравились бодрые Митькины слова, и мы пошли на свидание.

Девушки встретили нас, обе нарядные, банты в косах. От мельниц идем межами через поле. Попутно срываем гороховые стручки. Загадываем и отгадываем, сколько горошин в стручке. Решили считать того счастливым, кто первый найдет стручок с девятью горошинами. Такого не нашлось. Никому не обидно. Валька, гораздая напевать по всякому поводу частушки, и тут успела:

Мне не надо пуд гороху,
Мне — одну горошину,
Мне не надо двух хороших,
Одного — хорошего!..

Не знаю, насколько я хорош, а частушку принял на свой счет. Облюбовали мы удобное местечко: позади густой осинник, а впереди все видно. Если кто поедет или пойдет, от наших глаз не укроется.

Сначала насобирали полных две фуражки малины, потом заняли — каждая пара поодаль одна от другой — места. На всякий случай запаслись камнями. Мы заводим с Валею разговор о Петрухе Дворкове.

— Конечно, его стоит бояться, — говорит Валя. — Он всегда с «уразиной» ходит. Может нам обоим насолить. Я его за угрозы терпеть не могу...

— А за что он угрожает, какое имеет право?

— Никакого! Верно, он как-то пьяный с моим отцом разговор завел, чтобы на мне жениться и чтобы корову в придачу отец дал. Я не такая дура, без любви идти. Он год в остроге сидел, как таракан под решетом. Я отцу сказала: «Отдай за него корову замуж, а меня не тронь...» Отец было на дыбы. Братишка и мама за меня: какая из меня невеста? Я, может, годиков пять в девках весело погуляю. Мне совсем не к спеху. Больно я люблю девичью жизнь. Недаром придумано и сказано:

Песни пой, пока поется,
Замуж выйдешь — не придется.
Не придется песни петь,
Придется горюшко терпеть...

Отстегнула я таким манером Петруху. Тем дело и кончилось. А стороной слышу, он сердится и грозится. Вот если бы вы с Митькой Грбовым его словом урезонили или припугнули...

— Ну как с таким сладись? Ты, Валя, самая главная фигура в деле. При Советской власти насильно замуж не позволено. Не стрый режим.

— И брат мне то же говорит, что теперь женскому полу полная свобода и равенство с мужчинами. И замуж будут выходить по любви и согласию, а не за тех, за кого родители захотят отдать. Мне Петруха не по нутру. Охальник и грубиян.

Пришли мы сюда задолго до заката, а просидели до полуночи. И о чем только с Валею не толковали. Спора не было. Она хвалит лето, и я хвалю. Она хвалит зиму с ее веселыми вечеринками, и я хвалю... А потом захотелось мне блеснуть перед ней своей памятью, стал наизусть читать стихи Демьяна Бедного — «О попе Панкрате, о тетке Домне и явленной иконе в Коломне».

— Ой, какая у тебя память! — удивилась Валя, внимательно и терпеливо выслушав от меня весь этот демьяновский сказ.

— А разве у тебя память с прорехами? Ты частушек-коротушек знаешь, наверно, миллион. Всех не перепеть.

— Подумаешь, частушки. Сами из головы лезут и на язык просятся.

Проводи меня, Костюша,
До высоких, до осин.
Раз пятнадцать поцелуешь,
А домой пойдешь один...

Вот тебе и коротушка. На какое пустячное дело не много ума надо. Шутка ли, ты целую книгу по памяти, без запиночки. Господи, ужели так чудеса делаются? Как ты рассказал: купил поп на базаре икону, спрятал и сделал ее явленной?..

— А как же? Только так. Иконы «явленные», мощи «нетленные» — все для затемнения людей.

— Вот бы нашим мужикам такую побасенку рассказать. Уши развесили и слушали бы. А как ты выучил?

— Очень просто: книжку Демьяна я, наверно, тридцать раз читал мужикам, пастуху Копыту, бурлакам на барке, на лесопилке, на водяной мельнице на Кихте-реке и на озере рыбакам...

— И везде ты бывал и работал?

— И бывал и работал.

— Мне тебя очень жаль, — пригорюнившись, сказала Валентина. — С малых лет ни отца, ни матери. Господи, как бы я на твоём месте жить стала... А потом тебя в солдаты возьмут.

— А я не буду ждать, когда возьмут. Сам пойду, попрошусь добровольно.

— Молод — не возьмут. Сиди в своей Попихе да починивай солдатам обувь. Успеешь пулю в лоб получить либо инвалидом безруким остаться.

— Не страдай, не боюсь. Грובה скоро призовут, его уже записали в военкомате. А я махну добровольцем...

Так мы с Митькой несколько раз по воскресеньям в то лето ходили встречаться со своими дрялями на облюбованное место к осиннику.

Однажды хозяин отправил меня в другую волость, поработать на маслобойном заводе у одного кулака. Дело не тяжелое — погонять по кругу лошадей. И механика не хитрая — крутится тяжелый камень на камне, стирает льняное семя в порошок, а затем делается заварка, кладется в колоду под бревенную тяжесть. Масло стекает и выдается заказчику, а выжимки остаются хозяину маслобойки.

Приметил я хитрость владельца. Как он из колоды выжимает еще столько же масла, как обижает вдов-солдаток, спекулирует чем попало. Написал об этом в газету «Красный Север», подписался «Острая игла» и письмо передал редактору отдельно, и бумажку в десять тысяч рублей. (Не подумайте, что это большие деньги. Едва ли в ту пору на них можно было купить восьмушку табаку и коробку спичек.) Мне по тогдашнему моему разумению казалось, что, если кого в газете пробрать, надо за это деньги платить. Прошла неделя, мне из редакции вернули деньги и ответили: «Редакция корреспонденции печатает бесплатно. Деньги берутся только за коммерческие объявления и об утере документов. Вашу заметку помещаем. Пишите нам о работе сельсоветов и кооперации. Разоблачайте кулаков-мироедов, боритесь через нашу газету с пережитками прошлого, религиозными предрассудками, с хулиганством, спекуляцией и прочими отрицательными явлениями на селе. Будьте нашим постоянным селькором. Сообщите о себе, ваш возраст и чем занимаетесь. С комприветом редактор газеты Ан. Субботин».

Так неожиданно я стал селькором...

Но речь сейчас не об этом. Возвращаюсь в Попиху, а там для меня два маленьких пакетика: как два порошка лекарственных свернуты и сверху на пакетиках мое имя и фамилия. Развертываю, читаю. Написаны разными почерками, суть одна: два воскресенья не видела, скачу, жду, целую, на гулянки не хожу, побаиваюсь, говорят, Дворков хочет меня отхлестать... И подпись — В. К.

В очередное воскресенье совещаюсь с Митькой. Показываю записочки. А он — парень смелый.

— Вот что, Костя. Надо все выяснить. Пойдем прямо в берлогу к этому медведю Петрухе. Поговорим напрямки. Не бойся, трезвый пальцем против нас не пошевелит. Другое дело пьяный, да при народе, — из бахвальства перед другими может и в драку полезть. А тут мы к нему в избу вкатимся. Вот увидишь, совсем опешит...

Митьку разбирало любопытство, а меня охватывала робость. Не выдал я своей трусости. Пошли к Дворкову. Идем да придумываем, как разговор с ним вести. И так, и этак, и по-хорошему, и по-плохому.

Дело было днем. Приходим. Петруха сидит босой, беспоясный у себя на крыльце, на гармошке наяривает «Отвори да затвори», отчаянно качает головой и песни горланит:

Что острог, что острог,
Что мне казематка,
Вологодская тюрьма
Мне — родная матка!..

Мы перед ним как из-под земли выросли. Поздоровались, руки не подавая. Он гармонь придушил, откинул на завалинку, спрашивает:

— Как прикажете встречать вас — добром или топором?

— Конечно, добром. Иначе не пришли бы...

— Тогда вам слово. А у меня нет нужды разговаривать. Драться из-за девок у себя на дому тоже не стану.. А в чистом поле да под пьяну руку попадетесь, там я сам себе хозяин, не пеняйте...— говорит и часто-часто моргает и посмеивается.

Молчим.

— Закурить есть? — спрашивает Дворков, не глядя на нас.

— Нет, мы оба некурящие.

— И самогонки нет?

— Нет.

— Пентюхи вы, пошехонцы какие-то!

— Вот, Петро, есть слухи, что ты угрожаешь Вальке?

— Ну и что? Какое тебе дело? Что она тебе — жена?

— Нет. Но интерес имею...

— Пожалста. Путайся. Бить девку — последнее дело. За кого вы меня принимаете? И что такое Валька? Сморчок! Спьяну приглянулась, с трезва разглянулась. Ей расти и расти. А вот ее двоюродная Фаинка, та еще туда-сюда... На эту можно виды иметь... А Вальку я припугнул слухом. Она меня словом огорчила... Ну, хрен в ней. Чего с дуры спрашивать...

У меня отлегло от сердца. Значит, угроза с Вальки снимается. Разговора о Фаинке Митька и не думал заводить. Не уронил своего достоинства. Глупо с моей стороны, и, не подумав зачем, я спрашиваю:

— Такой ты, Петро, богатырище, почему не в армии?

— После тюрьмы негод. Политически...

— Ишь ты. Значит, без доверия.. Несклеписто выходит...

— Да, несклеписто,— соглашается Петруха.— Лето погуляю, захвачу Фаинку самоходкой да на бумажную фабрику подамся,— сказал и покосился на Митьку. Тот не вытерпел:

— Фаинку? Самоходкой? — и, показав кукиш, добавил: — Фаинку не купишь...

— Дарма возьму,— сказал Петька, снова ухватился за гармонь и заиграл такой мотив, который у нас на Вологодчине называется «под драку».

Драки не случилось, но, как нам с Митькой показалось, завязка для драки есть. И в этой завязке отводится роль не Вале, а Фаинке.

Мы долго и неловко помолчали. С Петькой говорить не о чем, поспешно уходить неудобно. Поглядев на небо, Митька сказал мне:

— День сегодня ведренный, дождика вроде не предвидится. Пойдем гулять на Туровские горы. Туда и зародовские придут...

Я понял, что это он говорит не для меня: куда идти — уже ранее договорились.

— Что ж, пойдем, давно там не были...

И опять молчим. Догадываюсь завести другой разговор. Достаяю из самодельного бумажника редакционное письмо, подаю Митьке.

— Смотри-ка, что мне на этой неделе из «Красного Севера» прислали!

Митька читает молчком. Дворков смотрит через Митькино плечо. Штамп редакции удивляет его. Вижу, Петруха шевелит губами:

— ...«религи-о-зны-ми пред-рас-суд-ками, хули-ганством, спе-ку...»

А мне это и надо. Пусть знает, с кем дело имеет. Я свертываю письмо и бережно, как дорогой документ, прячу в бумажник.

— Хорошо! Надо писать обо всем, да и почаще,— говорит Гробов.

— Так это не ты ли продернул маслобойщика? — спрашивает Дворков.— Мы всей деревней газетину читали. Судили-рядили, не знали, на кого подумать. Так, так. Какой грамотей сыскался, борец, молодец среди овец. Пиши, пиши, да оглядывайся. Другого заденешь — волосье вместе с головой оторвут. Как пить дать!.. А теперь соображай, что раньше после этого на плечах вырастет — башка или волосье? Ясно тебе?..

— А тебе ясно, что газету выпускает губком РЭКЭПЭБЭ?..

— Ну и что? — Дворков вызывающе уставился на меня.

— А то, что у тех, кто пишет в газету, есть надежная защита.

— За твоей спиной, что ли, будет эта защита? Хряснут по башке, опоздает твоя защита... Вот так «Острая игла». Будем знать...

Оставили мы Дворкова и направились, конечно, не на Туровские горы, а в Зародово. Идем скошенными пустошами. Впереди показались Зародово. И в это время случилось следующее. Подул ветерок. Откуда-то появилась небольшая тучка — рукавицей закроешь. Но быстро стала распухать и темнеть. Над Зародовом туча нахмурилась, закрыла солнце. Зловещим выстрелом стукнул гром. Сверкнула с треском молния... На этот раз господь бог промахнулся, пустив огненную стрелу не в осинник, не на Иудино дерево, хлестнул в железный крест часовни. Крест погнулся, главу расщепило и опалило. Но богу мало показалось. Он, наверно, искал избу безбожников — братьев Тихоновых. Но и тут все перепутал. Молния от часовни скользнула в дом самого набожного и богатого кулака Выборнова, трахнула изрядной силой и пошла дальше куралесить по крыше соседней избы, перекинулась на гуменник и успокоилась. А Зародово вспыхнуло сразу в трех местах. Тревожно звякнул у часовни колокол. Народ выбежал на улицу. Крик, рев, беготня-суетня.

Кто-то с иконой богоматери кружился около горевших домов, а огонь перекидывался с крыши на крышу. Из соседних деревень приехали пожарные машины. Из сорока домов в Зародове сгорели двенадцать. Во время пожара мы с Митькой помогли братьям Кириковым вытаскивать за деревню весь их домашний копеечный скарб. На глазах моего предполагаемого тестя Алексея Кирикова я вытащил с повети сани-возок, впрягся и в поте лица тащил сани по траве в овины. Митька, оценив мое старание, сказал:

— Молодец! Конь так конь и есть. Не зря у тебя лошадиная фамилия.

Потом взял топор, бережно, не разбив ни одного стекла, вынул все пять рам из окон.

— Рачительный зятек будет, — похвалил меня Валин отец, — за такого можно дочку отдать, да и корову прибавить.

Я, наверно, покраснел, но все же ответил:

— Спасибо, дядя Алексей, когда дело до этого дойдет, я и без коровы с удовольствием...

— А когда дойдет?

— Успеется. Валя не на выданье, и я жених не готовый. Сами знаете, была бы у меня изба...

— Плохо дело, плохо. Без избы — нет судьбы. Изба нужна, как же, — говорил он сочувственно, поглаживая длинную нечесаную бороду. — Смотри-ка, что с деревней-то стало. Обеззубела. Самолучшие дома бог прибрал, — продолжал Кириков. — Ну, да эти не бедны, скоро отстроятся. Год, два — и все поправят.

— А мог бы бог и не тронуть, если бы громоотвод. Часовню

поставили, на громоотвод денег пожалели. Вот вас бог и проучил...

— Ты чего-то не так... Все по-божьему. Он знает, кого казнить, кого миловать...

«Так-то и мой хозяин рассуждает,— подумал я,— неграмотные вы, темные черти...»

В Зародове пришлось нам пробыть до сумерек. Помогали накачивать воду машинами, тушить остатки пожара. Потом помогли Кириковым обратно стаскивать их пожитки, благо домишко их уцелел.

К высоким осинам идти не пришлось. Не до гулянья. С девчатами договорились встречаться каждое воскресенье на том месте, а в «преображеньев день», если надумаем, сходить в Преснецово, там будет гулянье.

Валя и Фаина проводили нас за околицу. Над Зародовом тонким рассеянным облаком стоял дымок. Пахло гарью. Из поскотины тянулось усталое коровье стадо. Почуввав недоброе, коровы мычали и сбивались в тесную кучу.

— Скотина и та понимает,— сказала Валя.— Придут коровушки домой, и ночевать негде... А какое теперь некрасивое стало наше Зародово...

На той неделе я написал и послал в газету заметки о пожаре, о религиозных предрассудках, о хулиганах. И еще о том, где и как надо переходить с трехполки к многополью. О кустарях-сапожниках и роговщиках, о скупщиках-спекулянтах и о том, какую выгоду могут приносить кустари, объединенные в артели. У меня получилась уже не заметка, а большая статья. И все это, к моему удивлению, печаталось быстро и почти без исправлений.

Однажды мне довелось приехать в Вологду. Меня пригласил в кабинет редактор, сделал добрые наставления и сказал:

— Зайди в бухгалтерию, там тебе гонорар начислен...

Впервые я тогда услышал это слово. Получил несколько сот тысяч рублей. Купил себе на рынке рубаху, поношенные галифе и два фунта леденцов девушкам.

Вернулся в Попиху торжествующий.

В первое же воскресенье с Митькой идем к высоким осинам. Ждем недолго. Девчата, как по расписанию, выбегают из деревни — и к нам. Усаживаются рядком.

— Валя, Фаина, ешьте конфетки,— подаю им весь кулек.

— Вот спасибо-то!..

Валя примечает на мне обновки.

— Откуда это? Из Вологды?

— Да,— говорю,— ездил. Отхватил гонорар...

Пришлось растолковать, что такое гонорар.

Опустошили кулек, побродили, посудачили о том о сем. Вечера теперь стали темней, холодная роса спускалась на землю. Тесней прижимались мы друг к другу. И так свыклись мы с Валею — водой не разольешь. И казалось мне, что я готов для нее на все.

А потом опять рабочая неделя. А между делом пишу в редакцию. И не ради гонорара, помилуй бог: быть селькором — почетно в деревне. Я это усвоил очень скоро...

Мой хозяин приметил, что я частенько пишу в газету, стал со мной добрым.

Одно хорошее дело сделал для меня хозяин: достал из сундука кожаные штаны и тужурку, сшитые для сына, пропавшего на войне без вести, дал поносить эту кожаную одежду мне.

Жду не дождусь «преображеньева дня», чтобы с неожиданным форсом появиться во всем кожаном на гулянке. Сапоги себе на колодке поправил, каблуки перебрал, голенища начистил. В таком виде не только мне, комиссару не стыдно. Хоть на трибуну полезай.

Митька увидел, языком прищелкнул:

— Витязь! — сказал он. — Настоящий Бова-королевич... Покоритель прекрасной царевны Милистрисы Кирбитовны.

И хозяин, довольный, любитесь мной.

— Вырастай, Костюха, живи, работай. Авось пособлю тебе зимовочку в два окна огоревать, а дальше сам карабкайся...

А я молча думаю: время идет, пора обратиться в комиссариат, примут ли добровольцем в армию...

— Пойдем, что ли, к осинам? — выводит меня из раздумья Гробов.

— Конечно. Куда же больше?

Я прихватил для Вали две книжки: одну веселую, против попов, в стихах — «О блаженном успении собаки Лыска и как купца взяла тоска»; другую полезительную — «Отчего происходит гром и молния и как сделать громоотвод». Надо девку просвещать, не быть же ей в отсталости.

Пришли мы с Митькой к осинам. Валентина увидела меня в кожаном одеянии, обомлела и чуть не пляшет.

— Как тебе идет!.. Смотри, не возгордись.

— Не возгоржусь! — С непривычки я чувствую себя как-то неловко, будто на мне все краденое.

Сидим с Валею. Поскрипывают и пахнут ворванью штаны и ту-

журка. Сегодня я очень счастлив. Просто не верится. С чего это хозяин надоумился и не пожалел меня приодеть? Да еще как!.. Поговорили с Валею о том, как устроились погорельцы у соседей, что погибло в огне из имущества.

Она сказала, что я полюбился отцу. И это ей очень приятно. Мне тоже. Начинался хороший день. Но стал тускнеть и скоро померк этот день в моих глазах.

Огорчили меня слезы Вали. Веселая песенница, и вдруг — слезы. И вызвал их я. Подаю Вале две книжки и говорю:

— На, возьми, дома вслух отцу считаешь.

Она взяла, повертела в руках книжки, запечалилась.

— Валя, в чем дело?

— Да ведь я неученая...

— Неграмотная? А записки как же мне присылала?..

— Так это Фаинка и Верка писали,— говорит она.— Я, Костя, только две свои буквы и знаю «Вы» и «Кы». Школа от нас пять верст. Куда зимой в такую даль? А теперь взрослая, поди-ка поздно, да и дел дома много. Извини, что я тебе раньше не сказала. Ну вот, ты и разлюбил меня.

— Милая Валя, конечно, это меня огорошило. Но беда небольшая. Вытри слезы, они тебя не красят. А в следующий раз я приду с букварем и тетрадкой, и мы начнем учиться. Да и в ликбез тебе придется пойти обязательно. Знаешь, что Ленин сказал: всем быть грамотными...

— Ленин про нас не знает...

— Ленин про всех знает.

— Вот видишь, я не так сказала...

— Ленин знает и декреты пишет для пользы всего народа. Надо, Валя, учиться. Начнем со следующего воскресенья. Хорошо?

— Ладно, начнем... Стыдно взрослой учиться.

— Нет, стыдно неграмотной оставаться. Почему же Фаина и Вера тебе не помогают?

— Некогда им, да и не ахти какие грамотейки. Письмо еще нацарапают, десять слов...

Митька с Фаиной натаскали репы, вымыли ее в канаве. Мы аппетитно грызли сладковатую спелую репу. Следили за полетом журавлей, слушали их унылое курлыканье.

Грбов сказал:

— Вот кому свобода. Куда хотят, туда и летят...

— Я бы хотела быть журавлем,— в тон Митьке проговорила Фаина.

— Эта птица гадюк поедает...

— Тьфу! Не хочу тогда быть журавлем. Лучше лебедью.
— Охотник прихлопает.
— Умный охотник ни за что в лебедя не стрельнет. Пожалееет.
— Не все умные.
— А дурак и в человека выпалит.
— Журавли журавлями, а в Преснецово пойдем или здесь нам хорошо? — спросил я девчат.

— Пойдем, пойдем,— затараторили они.

Митька тоже с нами согласен:

— Так что ж, пойдем в Преснецово. Гульбище там большое соберется. Телицынские, беленицынские, тюляфтенские, корневские. Гуляк да гостей из семи волостей.

Пошли в Преснецово не путем, не дорогой, напрямик по скошенным лугам, по зеленой отаве, меж кустов, перелезая через перегородки, обходя заросшие мохом лужи и кочковатую болотину. Идем, переговариваемся.

Девчата на всякий случай предупреждают:

— Если драка начнется, то побежим в избу к Долгановым, там отсидимся...

— Этого не произойдет. Вы нас не пугайте,— говорит Гробов, но тут же соглашается: — Конечно, какой праздник божий без драки.

Невелика деревушка Преснецово. На высоте, да в частом окружении деревень, она для сборищ подходящая.

Молодежи собралось видимо-невидимо. Вся деревня так и тонет в сплошном гомоне гармоник и песен.

Мы незаметно влились в поток гуляющих.

Тихо, мирно шагаем по улице следом за гурьбой нарядных девчат.

Дошли до середины деревни. На притоптанной луговине — пляска. Надрывается тальянка-черепанка. В тесном кругу неуклюже топчется с кем-то из собутыльников на перепляс захмелевший Петруха Дворков. Без фуражки, ворот расстегнут, в руке сверкает нож, из кармана штанов торчит рукоятка нагана. Колечко на рукоятке побрякивает. Не знаю, заметил ли он меня с Валей. Но, увидев Фаину с Митькой, Петруха вызывающе пропел:

Вы, ребята, дома бойки,

Попляшите-ка у нас.

У нас ножики наточены,

Готовы резать вас.

Пропел и, резко рванувшись, сбив кого-то с ног, кинулся в сторону Митьки Гробова.

— Ой, убьет! — крикнула Фаинка.

Гробов бросился к тесовому навесу, там лежали вересовые колья. Я за ним. Кричу:

— Петруха! Не смей!

Не успел Митя схватить кол для самообороны, грянул выстрел. Гробов накренился и рухнул на бок.

— Убил! Убил!..

— Держите его!..

С дымящимся револьвером в одной руке, с ножом в другой, кривляясь, с приплясом, прошел вдоль деревни Дворков, и никто не посмел к нему подойти. Все лишь молчаливо расступились, пропуская его.

А я в эти минуты, разорвав рубаху, пытался сделать Митьке перевязку. Фаина и Валя, заплаканные, помогали мне. Пуля прохватила ногу выше колена, кровь хлестала струей. Кто-то принес чистое полотенце. Моя рубаха не понадобилась. Полотенцем туго перевязали рану.

Преснецовский мужик Ваня, по прозвищу Становой, запряг лошадь в телегу. Туда на сено положили раненого Митьку.

— Как ты себя чувствуешь? Ехать мне с тобой в больницу? — спросил я Гробова.

— Нет. Ты возьми у кого-нибудь ружье и проводи Фаину с Валькой до дому. Как бы он их не изуродовал... Этому гаду семь бед — один ответ. Хорошо еще, что попал в ногу... Мог бы убить...

Напуганные происшествием, девушки стояли возле телеги и жалобно глядели на побледневшего Гробова.

— Митенька, поправляйся скорей... — шептала Фаина. — Мы в больницу придем... А Дворкову опять тюрьма будет...

Гулянка испортилась. Песни заглохли. Плясать никто не выходил. И только где-то в стороне за Преснецовом еле-еле слышались затихающие голоса тальянки...

У Гробова оказалась раздробленной кость. Лечение не удалось. Заражение крови. Отняли ногу. Высокая температура и — смерть.

В тот день, когда его, под причитания матери, хоронили за оградой у «Петра и Павла», меня пригласил к себе волостной военный комиссар, мой хороший знакомый Михайло Филиппов, и сказал:

— Парень ты! возмужалый, поступай добровольцем в Красную Армию.

— Я согласен, запишите меня... — ответил я комиссару.

Валя и Фаина в воскресный день принесли на могилу Гробова охапку лесных цветов и венок из еловых ветвей.

А через несколько дней они провожали меня. С холщовым

мешком за спиной стоял я на палубе небольшого колесного парохода.

Фаина уголками черного головного платка вытирала слезы:

— Не стало Митеньки. И ты покидаешь...

Валентина, плача, говорила:

— Чует сердце, судьба нас разлучит. Ты уходишь навсегда, а мне на зародовской земле топтаться...

Хрипло прогудел свисток. Пароход отвалил от пристани.

Я навсегда покидал мою первую любимую девушку.

СОДЕРЖАНИЕ

Турка	3
Проня-книгоноша	15
Была бы я волшебница...	23
Двое их и двое нас	33

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
КОНИЧЕВ

РАССКАЗЫ-БЫВАЛЬЩИНЫ

Редактор Н. Нетесина
Художники А. Гольдман,
В. Локшин
Художественный редактор
Э. Розен
Технический редактор
Л. Самсонова
Корректор В. Иовлева

Сд. в наб. 13/1-67 г. Подп. к
печ. 1/IX-67 г. Форм. бум.
70×108/32. Физ. печ. л. 1,75. Усл.
печ. л. 2,45. Уч.-изд. л. 3,4.
Изд. инд. ЛХ-227. А12332. Тираж
50 000 экз. Цена 11 коп. Бум.
№ 2

Издательство
«Советская Россия».

Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглав-
полиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь Мос-
ковской области, Школьная, 25.
Заказ № 373.

«КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ»

Вышли из печати

- Н. Димчевский. **Калитка в
синеву.** 120 стр., цена 15 коп.
Н. Жданов. **Записки Тони Тро-
стниковой.** 102 стр., цена 20
коп.
Е. Карпов. **Крупица добра.**
48 стр., цена 9 коп.
П. Колесников. **Рассказы о
таежном друге.** 48 стр., цена
8 коп.
В. Куканов. **Волжская но-
велла.** 56 стр., цена 10 коп.
П. Крупник. **На этой земле.**
120 стр., цена 21 коп.
В. Лавринайтис. **В краю
таежном.** 80 стр., цена 15 коп.
С. Новиков. **После грозы.**
72 стр., цена 14 коп.
В. Сапожников. **Сивка-бур-
ка.** 104 стр., цена 19 коп.
Л. Сапронов. **Демочка.**
80 стр., цена 14 коп.
Э. Севастьянников. **Степь
в снегу.** 72 стр., цена 12 коп.

Книги продаются в книжных
магазинах и киосках Союзпе-
чати.